

ФОТО



№ 19 ОКТЯБРЬ 1976

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА», МОСКВА



ПЕСНЯ - ВЕРНЫЙ ДРУГ ТВОЙ НАВСЕГДА

..И ЖИТЬ ПОМО

С. ТУЛИКОВ. Каковы основные отличительные черты советской песни? Идейная глубина, высокие художественные достоинства, народность. Все это должно ощущаться в самой музыкально-поэтической песенной ткани. К сожалению, как мне кажется, в иных песнях, созданных в последнее время, музыкальная сторона нередко слабее поэтической. И эта облегченность музыкального языка не может не тревожить...

А. КОННИКОВ. В 1953 году ко мне — я был главным режиссером Мосстрауды — привели молодого композитора, студентку консерватории. Вот такую маленькую девочку. Я с удивлением смотрел на нее и думал: «Ну, что она может написать?» Потом на табуретку у рояля положили высокую стопку книг, потому что этой девочке было низко сидеть... Но когда она заиграла, я почувствовал, что присутствую при рождении МУЗЫКИ.

С. ТУЛИКОВ. Пахмутова?

А. КОННИКОВ. Да, это была Александра Пахмутова.

С. ТУЛИКОВ. Я понимаю, что вы хотите сказать. В каждой песне Пахмутовой есть свежая музыкальная мысль, навеянная традициями русской классики. Скажем, Рахманиновым, Чайковским. Не будем бояться их упомянуть. Конечно, нет никакого подражания, но какие-то корни просматриваются, какие-то огоньки, зажженные классиками, издалека сверкают. Пахмутова, я считаю, — выдающийся композитор, пример для многих.

А. КОННИКОВ. Лидер.

С. ТУЛИКОВ. Да, надо признать. Ее творчество несет в себе художественные решения, воспитывающие хороший вкус.

А. КОННИКОВ. Причем надо сказать и о разнопланности: у нее есть и героическая песня...

С. ТУЛИКОВ. У нее есть разные песни, и в каждой ощущается большая музыкальная культура, обретенная в стенах консерватории.

А. КОННИКОВ. Кстати, одна из наших бед — жанровое однообразие эстрадных песен. Нам нужны разные жанры: добродушная

шутка, сатирическая песенка, экспрессивная, танцевальная — да мало ли? Необходима веселая песня, ее очень не хватает. А у нас некоторое время назад все немножко шарахнулись в одну сторону: «густо шла» патетическая лирика...

С. ТУЛИКОВ. Иначе говоря, эстрадная баллада с речитативным запевом и патетическим, экспрессивным припевом. Обычно бралась содержательный текст и решался облегченными музыкальными средствами. Как правило, первая половина была разговорной: где-то спел, где-то сказал...

А. КОННИКОВ. Где-то задумчиво склонил голову...

С. ТУЛИКОВ. Но этим уже сыты...

А. КОННИКОВ. Или вторая форма — с таким, знаете, полуциганским разгоном...

С. ТУЛИКОВ. Да, с раскачкой. Но я вам скажу, в чем причина жанрового однообразия. Дело в том, что существует классический способ написания песни: музыка сочиняется на готовый текст. И от того, какие стихи принесет поэт, зависит и жанр будущей песни. А ведь есть и другой способ, не менее эффективный, когда композитор, не ожидая появления текста, который бы его вдохновил, пишет музыку. Для этого он должен чувствовать стихотворный размер.

А. КОННИКОВ. Стихотворную форму.

С. ТУЛИКОВ. Это тонкая вещь. Потому что можно написать такую музыку, для которой никакой текст, кроме абракадабры, не подойдет.

А. КОННИКОВ. Такие примеры мы знаем...

С. ТУЛИКОВ. К сожалению. Но известно, что в результате подтекстовки родились и многие хорошие песни, хотя «вгонять» текст в музыку — адская работа.

А. КОННИКОВ. Недавно, Серафим Сергеевич, меня пригласили на концерт одного ансамбля. Когда ансамбль начал играть, то немногие люди пожилого возраста, находившиеся в зале, быстро ушли.

С. ТУЛИКОВ. Значит, что-то их, Александр Павлович, отпугнуло?

А. КОННИКОВ. Форсированное звучание. Шум взлетающего реактивного самолета — сто двадцать децибел. А шум, создаваемый вокально-инструментальным ансамблем и усиленный электронной аппаратурой, тоже доходит до ста и более децибел.

С. ТУЛИКОВ. Громкость вряд ли можно считать важнейшим критерием в оценке музыкального искусства.

А. КОННИКОВ. К тому же в репертуаре этого ансамбля почти не было произведений советских композиторов.

С. ТУЛИКОВ. Плохо. Ведь опыт показывает, что есть у нас произведения, которые имеют успех у ансамблей. Я знаю, «Пламя», «Самоцветы» играют и Фрадкина, и Богословского, и Шанинского.

А. КОННИКОВ. «Поющие сердца», помоему, и Пахмутову играют...

С. ТУЛИКОВ. Вот-вот! Такого рода авторы и должны быть в основе репертуара.

А. КОННИКОВ. Но, может, этого мало? Может, нужно специально писать для таких ансамблей?

С. ТУЛИКОВ. Конечно. Ведь от автора, от его мастерства и вкуса зависит лицо коллектива. Я вам даже больше скажу: свою лепту должны внести и издательства. Изучив репертуар хороших ансамблей, они должны публиковать лучшие обработки, лучшие аранжировки из их репертуара. Издавать те сочинения, которые отвечают нашим идеино-политическим и художественным критериям.

Ансамблей у нас много — тысячи, а брать пример можно только с нескольких. Вот эта «эталоника» и надо распространять, наделяя лучшими образцами остальных.

А. КОННИКОВ. Мы вспомнили два хороших ансамбля, а их, конечно, значительно больше. Очень интересны, на мой взгляд, «Песняры», «Ариэль», получивший первую премию на последнем Всесоюзном конкурсе.

С. ТУЛИКОВ. У каждого из них есть что-то свое, в большей или меньшей степени.

А. КОННИКОВ. Когда есть свое лицо, тогда можно говорить о явлении искусства. А не

настало ли время устроить фестиваль таких ансамблей?

С. ТУЛИКОВ. Это уже делалось, только по другому поводу. В основном для того, чтобы оценить профессиональный уровень. Разумеется, обращали внимание и на репертуар. Но все шло «крупным помолом». А теперь надо идти в глубь жанра, исследовать его. Наверное, была бы целесообразной конференция, посвященная проблемам вокально-инструментальных ансамблей.

А. КОННИКОВ. Знаете, всякий раз, когда речь заходит об эстраде, невольно вспоминаешь, что половина артистов — исполнители песни: либо коллективы, либо солисты. А когда говорят «песня», рядом обязательно возникает другое слово — «ответственность». Не только поэта и композитора, но и исполнителя.

Сейчас песня шагнула далеко вперед — в популярности, в тираже. Песня сопровождает нас всюду — звучит по радио, по телевидению, на многих предприятиях даже работают под музыку. Все пронизано песней! Это та атмосфера, в которой мы живем и работаем. Какова же ответственность исполнителя — я сейчас говорю только о певцах — за то, что он вкладывает в умы и души людей! Зритель ведь замечает все — начиная с того, как артист стоит на эстраде, как движется...

Анатолий Дмитриевич Папанов как-то сказал: «Некоторые певцы, пока не набегают определенного километража по эстраде, не считают свою задачу выполненной...»

С. ТУЛИКОВ. Сейчас за рубежом очень моден стиль варьете. Певец варьете — это и солист, виртуозно исполняющий на фортепиано какие-то наигрыши, и композитор, и певец, который, конечно, движется по сцене.

Бот он поет, держа в руке микрофон, пританцовывая и передвигаясь по эстраде, а за ним извивается «хвост» от микрофона. Потом садится за рояль и играет. Затем вступает оркестр — звучит фрагмент из только что исполненного на фортепиано сочинения... И так далее.

А. КОННИКОВ. Но это не единственная манера поведения на эстраде. Да, один и поет,

УРОКИ ЖИЗНИ

Серафим ТУЛИКОВ,
народный артист РСФСР,
председатель правления
Московского отделения
Союза композиторов РСФСР

Александр КОННИКОВ,
заслуженный деятель
искусств РСФСР,
главный режиссер
Государственного театра
эстрады

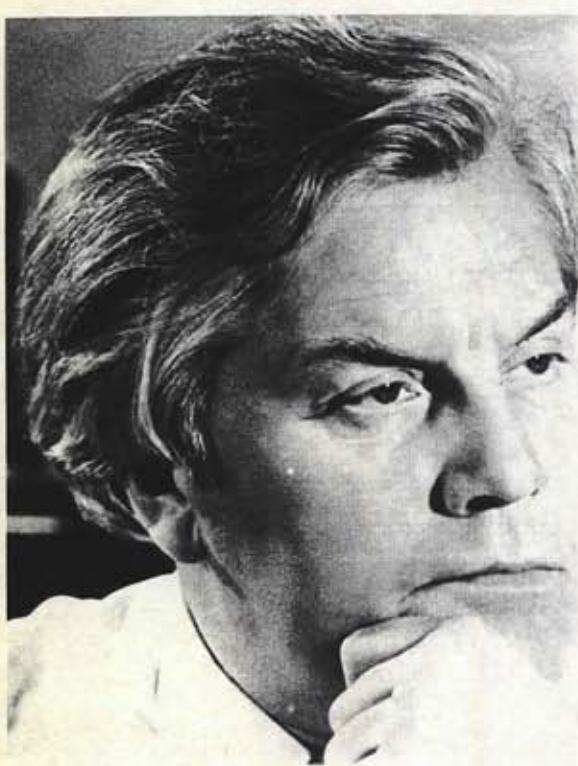




Фото Бориса ЗАДВИЛЯ

и танцует, и играет. А другой может найти свой стиль как раз в «неподвижности». Артист должен исходить из своей индивидуальности. Здесь я хотел бы привести в пример Мишель Матье. Когда она приезжала в Москву, то «просто» пела, но вот мы видели по телевизору два ее концерта, снятых на пленку во Франции,—здесь Мишель Матье уже и двигалась и танцевала.

С. ТУЛИКОВ. Искусство—вечный поиск...

А. КОННИКОВ. К сожалению, некоторые наши исполнители почти не ищут, эксплуатируя один раз найденное решение.

С. ТУЛИКОВ. Работают «на обмолоте»: что-то однажды посеяли, а потом только снимают урожай. Посева нового нет, а обмолот идет. Есть такое выражение у певцов, которые с нами работают. Иногда спросишь: «Ну, как? Такой-то растет?» «Да нет—«на обмолот»...

А. КОННИКОВ. Причин, почему не растет артист, много, но одну можно сразу назвать: при великом обилии концертных площадок—дворцов спорта, дворцов культуры, театров и прочего—нашей стране, по самому элементарному подсчету, нужно в четырехкратно раз больше артистов, чем есть сейчас. Я имею в виду, конечно, артистов хороших.

С. ТУЛИКОВ. Наверное. У нас на эстраде не так уж много «звезд»—будем, не боясь,

называть их так. Поэтому между ними нет конкуренции.

А. КОННИКОВ. О какой конкуренции можно говорить, когда их разрывают на части?

С. ТУЛИКОВ. А здоровая конкуренция должна быть. Вот я знаю: если меня пригласили написать музыку, а я не сумею этого сделать, сейчас же пригласят другого, третьего, пятого. Моего плана. А здесь—нет, он один такого плана. Он своего рода монополист и порой неуправляем.

А. КОННИКОВ. Любой, даже самый талантливый человек нуждается в авторитетном режиссере, чьим советам он доверял бы. Но такое содружество на эстраде—редкость. Молодой зритель сам выбирает себе кумира и начинает бездумно подражать его манере. Раз что-то звучит по радио или показывается по телевидению, решает этот молодой человек, значит, сие есть образец. Не только этот ритм хорош, но и этот пиджак и платье. И тогда какой-нибудь юноша цепляет себе брошку на грудь и надевает кружевные манжеты только потому, что вчера он видел их на любимом певце!

С. ТУЛИКОВ. Талант, особенно большой талант, обладает прямо-таки гипнотической силой воздействия на некоторых людей. Зритель ведь воспринимает не только голос

любимого певца. Сознательно или бессознательно, он поддается под влияние личности артиста, впитывает в себя его отношение к миру. А оно проявляется не только в исполнительской манере, но и в том, как артист одевается, как общается со своими партнерами-музыкантами и со зрителем залом.

Эмоциональное воздействие певца на слушателя не прекращается в тот момент, когда артист, раскланявшись, покидает сцену. В душах его поклонников продолжают жить не только мелодия и ритм, но и сам образ любимого исполнителя. И если певец перешел грань, отделяющую артистическую свободу поведения на сцене от развратности и вульгарности, то не исключено, что слушатели, прежде всего молодые, вынесут с концерта именно эту развратность и вульгарность. И я не удивлюсь, если узнаю, что кто-то из них после концерта, сядь, скажем, в автобус, грубо оттолкнул старика или оскорбил девушку.

Мы не должны забывать, что эстетическое воспитание—часть общего коммунистического воспитания. Поэтому наши популярные певцы должны сознавать, сколь ответственно и сколь важно их искусство. Ведь люди с предельной искренностью и доверчивостью открывают им свои сердца...

А. КОННИКОВ. Я согласен, что сегодня эстрадный певец существует в формировании

внутреннего мира своих слушателей. Но идет и другой процесс. Публика тоже оказывает на артиста сильное воздействие. Ведь одобрение зрителем той или иной интонации, того или иного жеста убеждает певца в их правомерности. Артист рассуждает так: меня принимают—значит, все, что я делаю, прекрасно. И если кто-то попытается доказать ему, что в этой, например, торжественной и патетической песне эквилибристика с микрофоном неуместна, он может возразить: «Но публике-то нравится!»

Поэтому я хотел бы обратиться к тем, кто слишком щедр на выражения своего восторга: цените свои аплодисменты и строже относитесь к артистам эстрады. Только этим вы по-настоящему поможете им, ибо ваша высокая требовательность—это именно тот ориентир, который необходим артисту.

С. ТУЛИКОВ. Частые выступления певцов по телевидению дают нам возможность изучить их досконально. Артисту иной раз и в голову не приходит, что зрители знают чуть ли не каждый его жест. Частое появление на экране иногда бывает причиной того, что артист перестает пользоваться успехом: в нем раз от разу все меньше новизны, зрителю ясно видит, что артист только «обмолячится».

Кстати, некоторые исполнители, считая нужным, так сказать, дополнить образ, начинают помогать себе мимикой, форсировав все,



Наша обложка:
коллектив
художественной
самодеятельности
профтехучилища
из города Георгиевска
Воронежской области.

Фото Бориса ЗАДВИЛЯ

УРОКИ ЖИЗНИ.

1 Диалог народного артиста РСФСР, председателя правления Московского отделения Союза композиторов РСФСР Серафима ТУЛИКОВА и заслуженного деятеля искусств РСФСР, главного режиссера Государственного театра эстрады Александра КОННИКОВА.

3 Документальная повесть Гария НЕМЧЕНКО
«БЫЛО НА ЗАПСИБЕ...»

5 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ.
«ДИРЕКТОР ЛИХАЧЕВ».

8 Рассказ Леонида ФРОЛОВА «ДЕВКИ ПРИЕХАЛИ».

12 «МОНРЕАЛЬ: ПЕРЕМЕННАЯ ОБЛАЧНОСТЬ. К КОНЦУ
ДНЯ — ЯСНО».

15 ЭКСЛИБРИС «СМЕНЫ».

16 РЕПОРТАЖ ОБ ИНТЕРЕСНОМ.
«АРГУС» УХОДИТ ПОД ВОДУ».

18 МИР БЕЗ БУДУЩЕГО.
«СТРАНА-ГАРНИЗОН: КУЛЬ НАСИЛИЯ И ЖЕСТОКОСТИ».

20 КРАСОТА РОДНОЙ ЗЕМЛИ.
«СВЕТ ЗОЛОТОГО ПЛЕСА».

22 Стихи Станислава КУНЯЕВА.

25 Юмористический рассказ Владимира СВИРИДОВА
«СУПРУЖЕСКАЯ ЖИЗНЬ».

26 ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ.
Сергей АБРАМОВ. «ВИШНЕВЫЙ САД».

28 Роман Богомила РАЙНОВА «БРАЗИЛЬСКАЯ МЕЛОДИЯ».

Главный редактор А. А. ЛИХАНОВ
РЕДКОЛЛЕГИЯ: В. С. Абашин, С. А. Абрамов, А. П. Кулешов,
В. В. Луцкий (заместитель главного редактора), Г. Л. Немченко,
В. Г. Победоносцев (ответственный секретарь), Р. И. Рождественский, Е. И. Рябчиков, В. А. Саюшев, Г. В. Семенов,
А. П. Середа, Г. С. Терзибашьянц (главный художник), Б. А. Файн,
Д. Н. Филиппов, О. Н. Шестинский.

Художник О. С. Теслер. Технический редактор Л. И. Курлыкова.

с Издательство «Правда», «Смена», 1976 г.

что только можно. И порой так неумело и фальшиво это делают — а телевизор дает возможность все заметить, — что ничего, кроме отвращения, не вызывают.

В певце ведь что дорого? Обаяние, проникновение в душу зрителя, а это должно быть заложено в самом голосе. Вот Зыкина, например, не использует всякого рода мимические «допинги».

А. КОННИКОВ. Потому что природа наделила ее внутренним богатством.

С. ТУЛИКОВ. У нее есть в самом голосе удивительная притягательность. А если вы будете мимически добавлять, а задушевности в голосе у вас нет и вообще таланта маловато, то уж лучше, не делая лишних движений, петь естественно, как дано вам природой. Словом, «мимическая сторона» некоторых наших исполнителей подводит. Сидя у телевизора и видя их крупным планом, зрители вдруг замечают, что один певец делает странные движения Челюстью, как будто дрожеват котлету, другой — неестественно шевелит губами. Особенно когда они поют под фонограмму...

А. КОННИКОВ. О! Я только хотел об этом сказать...

С. ТУЛИКОВ. Одновременная съемка певца и запись голоса — «живым» — сейчас на телевидении обычно не ведется. Что делают? В студии включается фонограмма, певец только открывает рот. А пение делается фальшивым, и вот почему. Например, у баритона фа-диез — очень высокая и трудная нота — это кульминация, где даже в лице напряжение. Такая нота — стекла дрожат, а он себе стоит и улыбается, как будто колыбельную поет.

А. КОННИКОВ. В голосе-то звучит напряжение, а лицо...

С. ТУЛИКОВ. А лицо спокойно. Значит, и под фонограмму надо петь по-настоящему. Твое пение должно эмоционально соответствовать телевизионной «картинке». Это тоже искусство — петь под фонограмму.

А. КОННИКОВ. Есть же еще одна элементарная вещь — сопереживание. Но о каком сопереживании может идти речь, если фонограмма записана полгода назад, а во время передачи зритель видит: у певца на съемке совсем другие переживания — попасть бы «губами в слово», и на телевизионном крупном плане это четко видно.

Мы получаем множество писем, в которых зрители резко критируют некоторых наших исполнителей. Но они же говорят о том, что во многих бедах виноваты мы, работающие в этом жанре искусства. Что мало ищем. Мало выдвигаем молодежь.

С. ТУЛИКОВ. Может быть, так оно и есть.

А. КОННИКОВ. А как же! Действительно, единицы приходят. Но зрители упрекают нас, и вполне справедливо, еще и в другом. Недавно я присутствовал на прослушивании студентов старших курсов отделения музыкальной комедии ГИТИСа, где кафедрой вокала руководит Понтиягин, в прошлом известный певец радио. Я прослушал. Пятьнадцать юношей и девушек исполняли советские песни. Должен вам сказать, среди них было немало перспективных. Как раз сейчас время их специализировать.

С. ТУЛИКОВ. Теперь, когда они получили элементарные навыки, должна начаться шлифовка «в плане» конкретного жанра.

А. КОННИКОВ. Надо бы иметь возможность сказать: вот вы или вы — прошу в стажерскую группу. Или в студию...

С. ТУЛИКОВ. В студию, в студию...

А. КОННИКОВ. Или в мастерскую эстрадного вокалиста. А ничего подобного, увы, пока нет. Вот о чем пишут зрители: нам нужна СИСТЕМА подготовки эстрадного певца.

С. ТУЛИКОВ. Вопрос о создании вокально-эстрадной студии давно назрел. И нужно, конечно, собраться с силами и найти средства и возможности, чтобы такую школу организовать.

Западные певцы обычно берут аполитичные сюжеты для своих выступлений. У нас же искусство идеиное, поэтому мы должны использовать легкого жанра, который, как мы все знаем, является, безусловно, одним из самых трудных, воспитывать в нужном нам идеино-художественном «ключе».

А. КОННИКОВ. Я думаю, здесь не надо чураться никаких путей. Должны быть и студии при концертных организациях, и всевозможные конкурсы молодых исполнителей, и кружки в самодеятельности, и наставничество — вот как сейчас в промышленности. Мы должны использовать все пути.

Что касается студии, то она могла бы объединить людей, обладающих педагогическими способностями. Вечно на эстраде не простоишь: возраст есть возраст. И многие эстрадные вокалисты, уже сегодня переживающие трудный период, возможно, могли бы найти себя в педагогике.

Пусть не покоробит вас сравнение положения дел в искусстве и в спорте. В хоккее или в футболе, скажем, многие выдающиеся спортсмены, отыгравшие свой срок, переходят на тренерскую работу. А почему эстрадный вокалист должен уйти и никого ничему не обучить? Не воспитать себе смену? Ведь если даже из десяти один окажется способным педагогом — это уже нечего.

С. ТУЛИКОВ. Верно...

А. КОННИКОВ. Я хотел поделиться с вами одной мыслью. В прошлом году, размытая над спектаклем, посвященным 30-летию Великой Победы, я перебрал в памяти песни военных лет. Я прошел в войну путь от солдата до офицера и хорошо помню, что мы пели не только песни, которые знала вся страна, но и собственного сочинения. В каждой дивизионной газете был свой человек, писавший стихи. В каждом взводе был свой Вася Теркин... И вот о чем я подумал: мы прекрасно знаем стихи и песни, написанные поэтами и композиторами, а вот с фольклором войны знакомы слабо. Так не настало ли время собрать его по крупицам, пока живы участники войны, пока это поколение среди нас?

С. ТУЛИКОВ. Очень хорошая мысль.

А. КОННИКОВ. Как мы собираем старинную русскую песнь? Организуются специальные экспедиции, и это правильно. Но ведь старинные песни мы слышим уже из вторых, третьих, десятых уст. Нынешним прабабушкам эти песни когда-то пели их прабабушки. Естественно, что-то из того, что должно было сохраниться в веках, за это время утеряно. Не пора ли организовать сбор военного фольклора по-настоящему? Поговорить с участниками войны, побывать на слетах ветеранов, записать и шутку, и частушку, и песню.

С. ТУЛИКОВ. На одной из декад я видел даже книжечку «Окопные песни», так что опыт такого начинания уже есть. Хотя и говорят: чтобы лучше представить себе грандиозную картину, надо отойти от нее, — все же особенно далеко отходить не следует.

А. КОННИКОВ. А то ничего не увидишь! «Окопные песни», о которых вы говорите, было очень много. Помню, часто писались новые слова на мелодии известных песен — со «своими» темами, понятными, скажем, именно на этом участке фронта. Было огромное количество частушек — и остроумых и злых...

С. ТУЛИКОВ. Война — огромнейшее испытание, и поэтому человек реагирует на нее всей гаммой чувств. Я считаю, что ваше предложение очень разумное и правильное. У нас есть фольклорная комиссия — вот ее-то и надо ориентировать на сбор фольклора времен войны. Но этого мало. Нужна, мне кажется, специальная кампания, поддержанная ЦК Комсомола и творческими союзами — композиторов и писателей.

Я думаю, что в результате мы узнаем много новых песен. Даже если песня несовершенная, профессиональные композиторы могут «довести» ее. Музикальный фольклор послужит в будущем материалом для создания симфонических и других сочинений, в частности для духового оркестра, очень любимого народом.

А. КОННИКОВ. В итоге лучшие произведения могут прозвучать и по телевидению — для миллионов.

С. ТУЛИКОВ. Я думаю, телевидение не откажется представить нам такую возможность. Главное здесь — начать...

Запись диалога
Григория ЦИТРИНЯКА.

Было на Запсибе...

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ



пять затем были будни.

Иной раз мы заезжали в контору поздно вечером, когда там уже давно было пусто. Коля перебирал оставленную для него стопку деловых бумаг, а я медленно ходил из угла в угол, останавливался напротив окна, глядел в ночь, потом возвращался к столу, трогал стоявший на нем макет конвертора — память о пуске первого на Запсибе, — и крошечная стальная «груша» тихонько покачивалась и опять замерла.

Иногда, пока он бывал занят, я листал свой блокнот, просматривал сделанные днем коротенькие записи. Нашел как-то страницу, на которой было: «Скачков — Гарнак. Лестница». Это вместе с Семеном Скачковым, тоже старым знакомым, припоминали в тот день его служебный список: шофер бензовоза — линейный механик по кранам — звагар — начальник участка механизации — начальник монтажного участка. Все этиступени — одна в одну — прошел вслед за ним нынешний главный механик управления Борис Гарнак. Сел после Скачкова в кабину его бензовоза, принимал потом от него дела в гараже... Я вдруг припомнил Ивана Сергиенко, спросил у Коли:

— Так он, выходит, уже третий на этой «лестнице»?

— Только не с бензовоза начинал — с крана, — и прищурившись. — Он же был сосед, на одной площадке жили. Сперва ругался:ходить к тебе не буду. Как ни придишь, ты все про техникум. Три года его убеждал, долек-таки. И два года потом с курсовыми помогал — отрабатывал за то, что мне тоже добрые люди помогали. А потом наш Иван как взялся!

Я открыл в блокноте чистую страницу, снял с ручки колпачок:

— Дай запишу, где сейчас ребята из бывшей твоей бригады.

Коля стал загибать пальцы:

— Тертышников, это ты знаешь, — заместитель начальника «Стальконструкции». Толя Шаталов в Лебединске теперь, стал, видишь, специалист по горно-обогатительным, все ГОКи строит. Сергей Шклянко тут. Зам. главного инженера «Тэцстрой». Коля Семенюк и Саша Косарев мастерами в нашем управлении. Лыткин Миша мастером в Липецке... В общем, переквалифицировался пока один Иван Перетялько: построил под Днепропетровском аглофабрику и остался в эксплуатации — приспособил недавно письмо...

Шевченко, видно, что-то припомнил и взялся за телефон, а я записал последнюю фамилию и задумался: часто ли вспоминают ребята об этой своей бригаде? Наверно, часто, если друг другу пишут. И, как знать, может, память о старой дружбе помогает им и сегодня? Даже тем, кто сейчас от Антоновской далеко...

С Шевченко мы договорились, что перед самым пуском конверторного он пришлет телеграмму: кому, если не ему, лучше многих других будут известны те самые «реальные» сроки?

И зимой я нет-нет да и вспоминал об этом нашем уговоре и все представлял себе, как опять полечу в Новокузнецк, на Антоновскую площадку, как увижу друзей. Посматривал иногда на монтажную каску, которую привез со стройки: Я, конечно, получил ее, свою законную, причем не намекал, не клянчил, не выыганил, а честно дождался — подарили Колину «смежники», ребята из «Сибстальконструкции». Каска была пластмассовая, черная, красивой формы, и спереди на ней было выцарапано: «Джезказган — Темир-Тау — Запсиб». Куда только хлопцев не забросит!

И хоть каска была из «Стальконструкции», я, признаюсь, все больше думал о механомонтажниках, рядом с которыми был в свой последний приезд, хотел о них написать и перебирал в памяти детали, ворошил подробности...

Как-то очень долго просидели мы с секретарем партийного бюро Александром Азаровым. Он прекрасный рассказчик и жизнь управления знает до тонкостей, работает в нем давно, и судьба его во многом похожа на Колину: родился и вырос на Кубани, жил в Ширванской, в Новопокровской, в Ашхеронске. На Антоновской был начальником комсомольского штаба на строительстве коксовой, вторым секретарем райкома комсо-

мала. Оттуда ушел в бригаду Петра Казенного, окончил техникум, стал мастером и снова теперь вернулся на общественную работу. Монтажу по-прежнему предан всей душой. Это он мне в тот раз с жаром доказывал, что монтажники, хочешь или не хочешь, — гвардия стройки.

— Возьми строительные управление. Есть хоть одно, которое позволило бы себе отбирать народ так, как мы его к себе отбираем? Мы из пяти, что идут с заявлением, принимаем только одного — у нас конкурс. И если парнишка стоит потом рядом с другими, когда посыпают в монтажники, его же распирает от гордости! Кто-нибудь из наших ветеранов, при орденах по такому случаю, конечно, вручает каждому комплект амуниции: свернутая роба, на ней новенький монтажный пояс, а поверх всего — каска с подшлемником... Бери, браток! Мальчишка все это счастье держит на вытянутых руках, одним глазом косит на утепленные сапоги с пряжками, вторым — на начальника, а Николай Петрович, знаешь, как? Одну бровь дугой, юркнет и командным голосом: каждому приказываю забрать сегодня спецовку домой. Примерить. По фигуре подогнать. Чтобы видно было: монтажник! Орел! Всем ясно? Повторять не надо? А этим запрети, они унесли бы, а тут приказ! Примерка — дело, понимаешь, десятое, не в этом главное. А штука в том, что мальчишка во все монтажное облачается да целый вечер перед зеркалом простоит. А вокруг и папа с мамой и братишка с сестренкой, если есть, а то и соседи зайдут: «Борька-то, батюшки, монтажник истинный! Да он же в каске в этой и спать ляжет. И пояс с себя не снимет, к спинке кровати им на ночь пристегнется. А потом, знаешь, что? Никогда не видел? Лишний карабинчик на кладовщике выпросит, себе на пояс прицепит. Так и на танцы пойдет...

Я не удержался:

— Это зачем?

— А вот как раз за этим. Чтобы всякие штатские сразу видели!

И так мне горячо Саша Азаров это, насчет гвардии, доказывал, что речь его я почти целиком вставил в повесть о монтажниках, которую писал той зимой.

Сидел за столом, рассматривал на каску, вспоминал об этих зеленых мальчишках и посмеивался: сколько у них в жизни будет еще всякого, пока о ком-то из них Шевченко скажет и с легкой грустью, может быть, и с гордостью, так же, как о нем — управляющий трестом, сам «лапа» Толчинский?

Как-то мы с Колей допоздна задержались в вагончике на участке Казенного, и он рассматривал чертежи, а я уже отдохнул, опять неторопливо итожил свои встречи да разговоры. В тот день вместе с начальником второго стройуправления треста «Кузнецкметаллургстрой» Марком Хиславским, тоже моим старым другом, мы долго ходили по участкам, где работали бетонщики, и он рассказывал о своих ребятах, и, конечно, похваливал их, и гордился, но, чтобы не хватить через край, тут же начинал посмеиваться: «Один месяц у нас знамя, другой — у «Стальконструкции». Только у них отберем — опять они у нас отбирают. Я Бугаков с Тертышниковым: «Братцы! Надо нам наконец решить этот вопрос раз и навсегда. Кто умеет работать лучше? У кого в управлении бильярдный стол поновей? У нас — значит, у нас соберемся, если у вас — давай у вас. Команда на команду...»

Я рассказал об этом Коле, и он, не оторвавшись от чертежей, кивнул:

— Это они молодцы. Здорово придумали.

— Да, — подхватил я, — хоть немножко развеяться...

Теперь он приподнял голову:

— Тут в другом. Пусть привыкают к бильярду. И Хиславский. И Бугаков с Тертышниковым. Только это им скоро и останется. Чтобы выяснить отношения...

— В смысле?

— Фронт у нас теперь есть, и мы уже сели прочно. Так что знамя теперь будет у нас. Месяц там... месяц тут. Что это — эстафета? Это знамя. Взял, так держи!

Глядя на Колю, я сомнением покачал головой, и он только тут слегка улыбнулся:

— Не веришь? А ты спроси, как было перед этим на мелкосортном. Девять месяцев подряд — знамя. Под конец уже стало, как бы тебе сказать, ну, не то чтобы надоедать...

И я теперь вспоминал эти слова и думал: так ли все, как предсказывал Коля?

Вместо «Металлургстроя», который я регулярно получал из Новокузнецка перед этим, почтальон бросал теперь в ящик другую газету, ежедневную двухполоску «Кузбасс на Запсибе». Это значило, что на конверторном уже настали горячие деньги.

Я тут же разворачивал сложенный до размеров почтового конверта листок, прочитывал от корки до корки, искал знакомые имена и фамилии — как там ребята?

«Генподрядному управлению треста «Кузнецкметаллургстрой» на главном корпусе предстоит сдать тридцать пять актов. Сдан один. М. Хиславский, уйдя на другую должность, так и не смог объяснить, почему сложилась подобная ситуация. Даже пробовал доказать начальнику НМУ-2 треста «Сибметаллургмонтаж» Н. Шевченко, что, мол, на «нуле» бетонщики целиком и полностью рассчитались...»

Ну, думал я, недаром у Марка не прошел номер, не на того. конечно, напал: Коля тоже не промах.

«Новокузнецкое управление № 2 треста «Сибметаллургмонтаж» (т. Шевченко) запалило костры на 36-метровой высоте...»

Значит, думал, на нашей стройке опять холода, иначе разве бы стали холопы баловаться?

«Тревожит положение с завалочными машинами. Второе управление «Сибметаллургмонтаж» (начальник Н. П. Шевченко) еще не приступало к их сборке...»

Что ж вы там, братцы?

Странное это дело — прислушиваться к тому, что происходит за пять тысяч километров...

Ходишь по улицам, читаешь газеты, смотришь в ночь за окно, и вдруг неожиданно приходит мысль, что там, на стройке, идет беспрерывная работа, идет и идет... Куда-либо едешь, сидишь перед телевизором, с кем-то говоришь, провожаешь глазами крошечный самолет в высоком небе, и снова, неожиданно толкнув сердце, является это ощущение торопливого ритма, которым живет Запсиб...

Телеграммы от Коли я так и не дождался, а тут и самого закружили дела, случилась одна поездка, другая, и дома у меня росла стопка непрочитанных газет с Антоновки. О том, что второй конверторный на Запсибе дал сталь, я услышал по Центральному радио, но потом, когда снова приехал в Новокузнецк, когда вдохнул знакомые запахи и снова до мозга костей сделался тем самым начинавшим тут чуть ли не с палаток запсибовским «стариком», мне стало обидно: как же так? Такое событие — и вдруг без меня!

С Колей Шевченко, оставил его машину, мы медленно шли к конверторному, и цех стоял впереди — как будто всю жизнь ту и стоял.

Был холодный декабрьский день, сухой снегок то посыпал негусто, а то вдруг, подхваченный ветром, начинал кружить, и тогда в белой замети впереди ровные дымы над высокими крышей становились особенно, почти по-домашнему тихими, и цех, уже обжитой, уже набравший живого тепла, казался, несмотря на гигантские размеры, таким уютным и таким мирным...

Мне теперь показалось, все дело в том, что я не получил телеграммы: разве не отложил бы я все дела? Разве не прилетел бы?

И я укорил Колю:

— Чего же не сообщил, как договаривались?

Он только что прилетел из Липецка, где его управление помогало сдать такой же, как наш, конверторный, и теперь, как бы сам с собой рассуждая, негромко сказал:

— Галерек видишь? И коммуникации подней. У них в Липецке такую отдельный трест строил. А у меня в управлении это была второстепенная работа...

— Почему телеграмму, говорю, не дал?

Он как будто не слышал:

— А тракт, видишь? У них целое управление такой монтировало, а у нас и это мое.

Я все не хотел отставать:

— Рубля пожалел? Надо было мне оставить тебе на телеграмму...

На этот раз он просто промолчал.

— Жаль было своих, попросил бы секретаршу дать за счет управления.

А он опять ни слова, только поглядывал искоса, когда отворачивался от ветра, посмеивался глазами. Умеет он

как-то так посмеиваться, что ни с какой стороны к нему тогда не подъедешь...

В цехе, когда-то полупустом и холодном, там и тут чувствовалось жаркое дыхание металлургии, он жил своюю особенной, будто бы и очень простой и одновременно таинственной жизнью, а на боках стальных конструкций, на кожухах там и здесь еще виднелись мелом набросанные чертежи и формулы и еще не совсем истерлись командиранными монтажниками нарисованные календари с перечеркнутыми числами маленьными крестиками...

Не знаю, меня всегда почему-то трогали эти персональные, отмечавшие разлуку с домом календари... Только-только придет на стройку откуда-либо приехавший к нам на пуск монтажник — и вид у него такой, что сам черт ему, понимаешь, не брат, уж этот-то скучать не привык,—а он тут же где-либо в закутке начертит сетку, напишет дни недели, цифры, какую полагается, поставит, а сверху календаря нарисует солнышко с длинными, как в детстве рисовал, лучами и крошечный самолет. Прошел день — отметил крестиком. Все к родному дому поближе...

Приезжие у нас рисуют. А наши там, куда сами потом прилетают помогать. График встреч и разлук. Примета профессии.

На втором конверторе, на том самом, опорное кольцо которого перемещала при мне бригада Алексея Киселева, готовились к разливке стали, и на третьем ярусе, неподалеку от стального бока громадной груши, стояли ребята с Кемеровского телевидения, оператор с кинокамерой и репортер, а рядом с ними поглядывал на часы, явно готовясь к интервью. заместитель начальника цеха Рафик Айзатулов.

— Что, — спросил у него Коля, кивнув на каску, — сегодня ты кинозвезда?

Тот согласился коротко:

— Сегодня я.

Когда сталь уже разлили по ковшам, когда глухой и грозный шум цеха остался позади и по длинной, застекленной с двух боков галерее мы шли в бытовки, Шевченко объяснил:

— Корреспонденты толкуются днем и ночью. Любят этот цех. Как что, так по телевизору второй конверторный. Работает как часы. Бывает, сдадут так, что и года не хватит выйти на проектную мощность, а тут было — какие-то недели, и уже набрал... Где видано? Так ваш брат начальству здешнему житья не дает. В конце заснимали. Борисов мне говорит: мы график составили. По каким дням я кинозвезды, по каким — Айзатулов.

Переход был длинный, мы все шли и шли, а впереди нас все перелетал и перелетал черный от колоти заводской воробей: не хватало, видно, характера затаиться где-либо за колонной да и переждать, пока мы пройдем.

— А правда, что начальник цеха племянник того Борисова?

Коля разулыбался.

— Он парень правильный, Юра Борисов. Не слабачок. В таком виде, говорит, не приму — упрется, и ты ему хоть что. О цехе не говорю — даже в кабинете ему несколько раз светильники переделывали. Другой раз, может, и послали бы его с нашей спешкой куда подальше, а тут: вдруг да правда? В цехе все, слушай, вылизывали. А когда уже сдали, я ему: Юра, давай-ка без всяких — дядя или не дядя? А он: как ты, может, заметил, раньше я на этот вопрос предпочитал так прямо не отвечать. Из соображений стратегии... да простит меня наш министр! Как видишь, говорит, это пошло на пользу. Ну, а теперь, когда цех сдали...

Черный записовский воробей набрался наконец храбрости, промчался у нас над головами, понеся обратно в цех.

— На смену опаздывает, — повел головой Коля.

Кабинет начальника второго кислородно-конверторного цеха Запсиба Юрия Алексеевича Борисова был такой, что мне невольно подумалось: не зря он заставлял его переделывать. Не пропало даром.

Хозяин кабинета, плотный, любастый, с пронзительными глазами, усадил нас за большой полированный стол, поставил минеральную и стаканы, сел напротив.

Коля отставил стакан с пузырившейся водой, посмотрел на меня с долгим прищуром:

— Эксплуатация с монтажниками обычно как кошка с собакой. А у нас, ты понимаешь, такой контакт был — Юра не даст сорвать. Однажды на нашем рапорте даже защищать меня взялся!

— А что? — поймался Борисов. — Если они такими начальниками управлений будут разбрасываться... я так тогда и сказал. Попробуй такую программу вытащи! Да будь ты хоть дважды лысый, сорвешься...

— Не готовы мы были, конечно, к такому объему, — сказал Коля. — Мы даже не поняли сперва, что нам предстоит...

— Так, а сибиряки как?

— Надо, значит, надо.

— А остальное — уже детали...

И тут я, конечно, понял, почему он не дал мне телеграмму. Почему он только что так настойчиво помалкивал, Шевченко. Не было у него знамени, которое он собирался удерживать полгода подряд, вот в чем дело. Не было на этот раз громкой славы.

— А как у тебя...

Борисов, поглядывая на Шевченко, замялся, и Коля разрешил кивком: можно, мол, тут все свои.

— Как с командировкой во Францию?

Был он «мистер Шевченко», а теперь, выходит, надолго станет «месяц» — пойдет работать во Францию. Се ля ви — такие пироги!

Оно, конечно, может случиться, вернется наш Николай Петрович оттуда, забудет, небось, кого как звать, ну, а пока товарищи все же, тем более «старики». И надо бы Николая Петровича как-нибудь так, по-русски проводить, чтобы помнили о нас там, во Франции...

Ясно, что все новокузнецкие друзья соберутся потом, когда дело решится окончательно и билет будет уже у Шевченко в кармане. Но меня на том великом вечере не будет: время командировки уже подходит к концу. И ребята решили, пока суд да дело, устроить малые проводы: мальчишник с баней.

Следующей субботы я ждал с нетерпением. Во-первых, соберутся наконец вместе многие из наших «стариков», а во-вторых, в южных своих краях я не то что соскучился по сибирской банье — я по ней, прямо сказать, истосковался. Вдруг это наше мероприятие сорвется!

Коля, который должен был договориться со «смежниками» — у них на трестовской даче есть прекрасная каменка, — за это время я увидел только мельком. Высказал ему это свое опасение, и он посмотрел на меня со значением, сказал тихо, но от этого тем более внушительно:

— Ты имеешь дело с монтажниками!

Знакомая песня!

— Помнится мне, — говорю ему, — еще не так давно один мой знакомый монтажник тоже говорил, что знамя собирается держать девять месяцев кряду...

— Его уже нет, этого монтажника, — прищурился Коля.

— Куда же он, любопытно, делся?

— Понимал.

— Во-он оно!

— А ты думал? Мы вот с тобой еще посидим, я тебе расскажу... А то ваш брат, бойкие ребята, земли под собой не чуют, когда: досрочно, досрочно! А ты на горбу на своем почувствуй, что такое досрочно!

Вывернулся-таки. Нет-нет, в Париж этого дипломата, в Париж...

И вот наконец два восьмиместных «газика» бойко бегут по хорошо накатанной дороге за городом. Сборы наши уже позади, и от предвкушения свободы, оттого, что рядом только старые твои друзья, настроение у всех особенное, все возбуждены, и в машине уже дым коромыслом — штуки, споры, дружеские подначки, потягивание плечом. Вроде большие начальники, а посмотреть поближе — мальчишки. И ведут себя, как перед заседанием комсомольского штаба когда-то на заре стройки.

Я тихонько сидел рядом с водителем, и про меня забыли, потому что сами тут друг с другом по сто лет не виделись, хотя живут в одном городе, хотя всех их связывает это прочное слово: Запсиб. Потом, когда чуть подвыпьют, они наверняка еще будут мне говорить: хорошо, что ты приезжал — хоть соберемся! И я буду этим очень гордиться и там, когда скажут, и после, когда опять уже буду дома, и об этой моей поездке в собственную юность останется мне только вспоминать...

Я и тогда, когда жил на Антоновской, и когда они еще не имели ни кабинетов, ни секретарш, был у них как связной. Кто-нибудь вдруг позвонит: «Сидишь работает? Вот хорошо. А я целый день по стройке, меня сегодня с собаками, так я, знаешь, что: дал одному другу твой телефон — это мой однокурсник с Байдаевки, ты его не знаешь. Он должен договориться с преподавателем, когда у нас примут, и мне передать. Так я сказал, чтобы звонил тебе, а я потом вechерком... Идет?»

Да и потом, когда их давно уже стали по имени-отчеству... Снимешь трубку, и вдруг: «Хорошо, что ты дома. Слушай внимательно. Сейчас в чем есть — на бетонку. Надо мою машину, она со стройки идет, перехватить. Скажешь начальному техотдела, пусть в «Гипромез» не ездит, слишком подарок им большой, пусть возвращается, мы тут сами узел решили. Извинюсь потом и все объясню, только давай немедленно!»

По поводу заполошных таких звонков я иногда, конечно, ворчал — лучшие друзья не дают, мол, работать, — но как я втайне этими неожиданными поручениями гордился!

Вполуха слушал я теперь веселую перепалку у меня за спиной, а сам все смотрел и смотрел на дорогу, на снежные хребты по обочинам, как будто хотел наглядеться про запас и на эти грязновато-серые снега и на низкое, с дымной поволокой кузбасское небо.

Мы огибали город, дорога то и дело петляла среди сопок, и вместо копоти на снегу впереди вдруг открывалась льющая ярким серебром, сверкающая на закатном солнце белизна. Голубое небо над зубчаткой пихтой вдалеке, над укрытymi инеем березовыми перелесками казалось бездонным, и ощущение первозданности этих мест все росло и росло, пока плавная гармония покатых холмов не нарушилась вдруг резкостью поломанных линий...

Край кузнецкий! Даже всемогущая сибирская зима не в силах забинтовать его прошедшей войной оставленных ран. Когда трудно было России, эта земля щедро раскрыла кладовые с несметными своими богатствами, в ту суровую пору она отдала все, что только смогла... Когда глядишь на нее теперь сверху из самолета, или из окна поезда, или так, через ветровое стекло, когда видишь эти оставшиеся после вскрытия зияющие провалы, часто думаешь, что все мы перед ней в неоплатном долгу и что настанет еще когда-либо время, когда мы, став побогаче, поможем ей окончательно залечить эти ее рубы и эти шрамы.

Люблю думать об этой земле, ставшей для меня как бы второй родиной, об этом городе, и далеко от него, в другом краю, как наяву, вижу и ворота полуразрушенной еще при

Екатерине казаками поставленной крепости, и недалеко от нее эту улицу с деревянными домами, мимо которых проходил когда-то сосланный сюда великий печальник Достоевский, и легендарную «тэ-тридцатьчетверку» из кузнецкой брони, стоящую теперь на площади перед старым металлургическим заводом, выросшим в годы первой пятилетки, и новый завод с громадным поселком на другом берегу реки — его построили мои ровесники, мои друзья и товарищи...

Почему, любопытно, восемнадцать лет назад, когда нашemu курсу надо было ехать на первую практику в областные газеты, я выбрал Кузбасс? Тогда я почти ничего о нем не знал, и если это судьба, то я у нее в долгу — в том и простом и гордом смысле, которому научили меня потом и пролетарский Новокузнецк и мой рабочий Запсиб.

Баня была хорошо натоплена, в ней держалось ровное, отстоявшееся тепло, а потом, когда распарили веники, когда в позеленевший кипяток кинули медку, размешали и пленнули на красноватые камни, в противоположную стенку бревенчатой парной тута ударили густой березовый дух, наственный на щедрых запахах лета, растекся сперва под потолком, стал опускаться все вниз и вниз, и все сначала пригнулись, опустились на корточки и только потом один за другим стали потихоньку выпрямляться, тянуться выше и выше, пока первый не забрался, наконец, на самый верх лиственничного полка, не обмяк там, разбросав, как придется, руки и ткнувшись щекой в сухое и горячее дерево...

Давно собираюсь написать о русской бане вообще и о многих тех банях в разных наших краях, где мне пришлось когда-либо погреться, отвести душу, или, как говорит один мой друг, старый сибирский лесник, потешиться... Где светлая благодать, пришедшая после какой-нибудь обязательного со своим особенно приметою парной, где неспешный разговор за душистым чайком с лесными травами позволят тебе получше, позволят навсегда запомнить и красоту мест, где бывал, и краски земли, и запахи, и обстановку жилья, и радущие хозяев, и то, о чем они говорили и как... Для меня все это одно с другим прочно связано, тут уж ничего не поделаешь, и если я и в самом деле когда-либо соберусь это сделать, то обязательно напишу и об этой новенькой бане на пустующей зимой трестовской даче «Сантехмонтажа»: о том, как истово-хлестали себя тут наши опытные парильщики, как они ублажали, чтобы тоже приобщить к сибирской бане, новичков, как под конец, когда просто упасть в снег да обратно в жар было уже недостаточно, несколько наших «старичков», набирая бодрости перед новым заходом в парную, в чем, извините, мама родила, неторопливо прогуливались по неширокой аллее, протоптанной под темными соснами, и никто никуда не спешил, не дергался, что ж, мол, тут такого особенного, это вам не Париж, понимаете, — это, братцы мои, Сибирь!

Потом сидели вокруг большого и круглого стола в нетопленной гостиной просторного, утонувшего в снегах под высокими и черными пихтами коттеджа, и на шее у каждого висело чистое и сухое полотенце: заботливо припас для всех самый, пожалуй, хозяйственный из нас — Слава Поздеев.

В духовке раскаленной печки у сторожа еще доспевала зайчина, а мы пока пили горячий и крепкий чай с медом из тех же самых поздеевских запасов и отдувались, блаженствовали, утирали еще не остывшие лица.

Коля Тертышников, который, несмотря на свой пятнадцатилетний сибирский стаж, по-настоящему попарился впервые, сказал размечено:

— Вот ведь, а... Или у себя в управлении банку выстроить?

Не так давно Тертышников опять догнал своего друга: стал начальником третьего управления треста «Сибметаллургмонтаж».

Поздеев глянул на меня, под светлыми его, прямыми бровями порхнула легкая усмешка, и я понял: из всех, кто был здесь, первый, если на то пошло, баню наладил он — на веряника в следующий раз будем париться где-либо во владениях водоснабженцев.

Сидевший рядом с Поздеевым Виктор Гнеденко, утирая широкое и счастливое сейчас лицо, кивнул в сторону Коли Шевченко:

— Уедет вот, а памятника тебе, Семенчик, мы так и не поставим...

Я глядел на Шевченко:

— А за что ему памятник?

— Тырышному? — переспросил Коля. — Вообще ему есть за что...

И пошло, как это у нас водится, опять то ж да про то же — опять о работе.

— Думаешь, я сам пошел бы начальником? — спрашивал у меня Коля Тертышников. — Да ни в жизнь. Это лучший друг сагитировал. Привел к Толчинскому, к «папе». И в уши мне с двух сторон: будет трудно — помогем. Я и...

— Он их и развесил...

— Я и развесил, — охотно соглашался Тертышников. — Народ в управлении толковый, дело знает — все так. Когда котел-утилизатор на конверторном в срок собрали, я от гордости вырос. Ловлю в тресте Смирнова: так, мол, и так, Леонид Павлич...

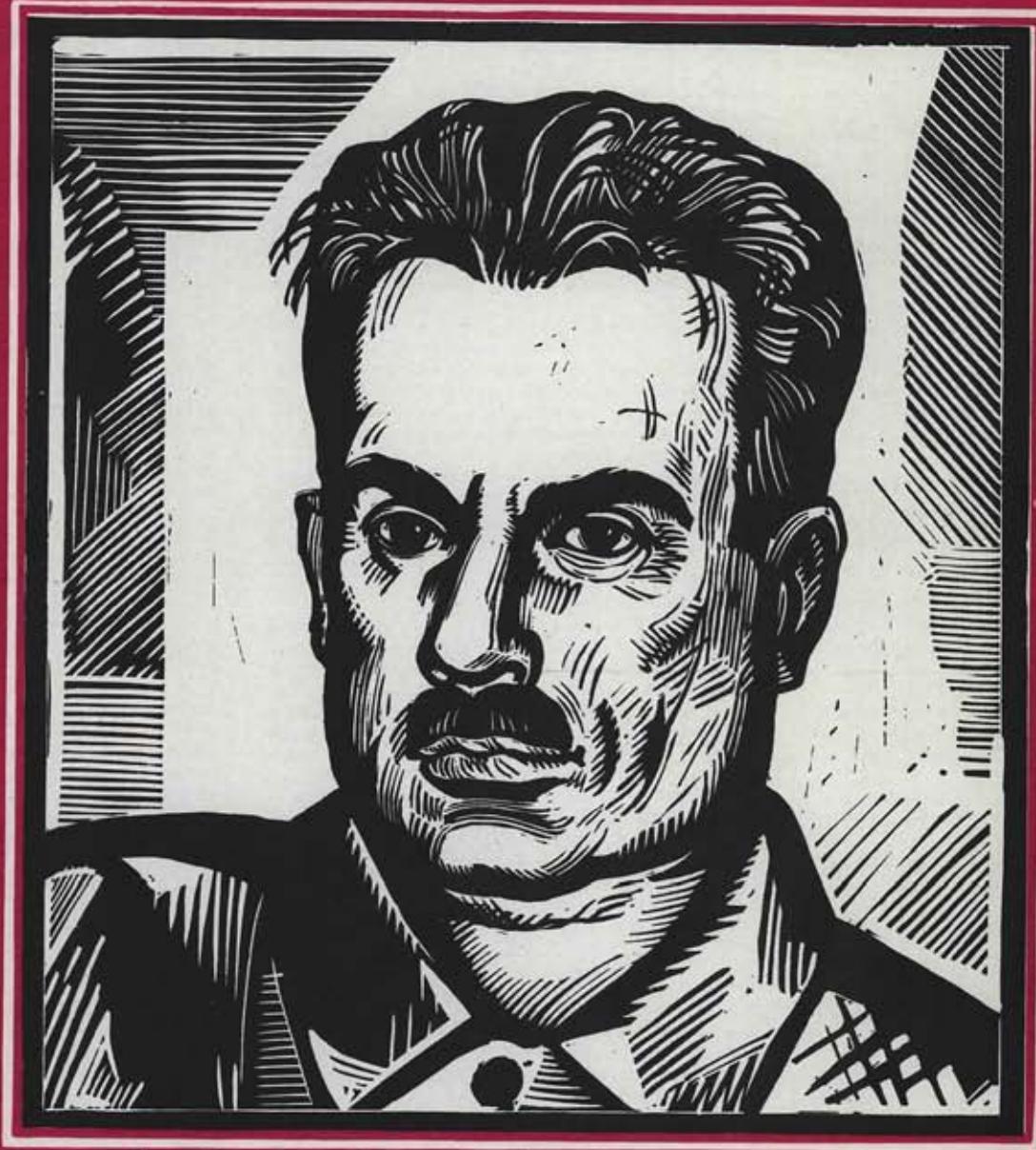
— А главный инженер ему...

— А он мне: молодцы, хорошо поработали. А теперь так: выкрутить пробки! Он у тебя при опрессовке должен потечь. Как потечь? А так, говорит. Не знаешь, как котлы текут?

Продолжение на 31-й стр.

Жизнь
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЮДЕЙ

Евгений ДОБРОВОЛЬСКИЙ



ДИРЕКТОР ЛИХАЧЕВ

Село называлось Озерены. Уезд был Венеской, а губерния Тульская.

Уездный город Венев торгался сысом и говядиной. Из промышленных предприятий крупнейшим был зионокуренный завод. Выпускали зеленого зеана. И разливали. В штофы, полуптифры и маленькие шападки, которые в местном наслаждении шутяко назывались «мерзлячками».

Будущий красный директор Московского автомобильного завода Иван Алексеевич Лихачев первый автомобиль увидел в 16 лет. Но не в родных Озеренских и не в Веневе, а в городе Санкт-Петербурге, куда его отправили учиться ремеслу.

Автомобиль, чади сияющим махорочным дымом, чавкал резиновыми шипами и гремя железом,

катил по торцовой мостовой. Шофер в кожаном кепи с прямым козырьком, в очках от петра, в черных перчатках скрягами ширяющими нажимал на красную резиновую группу. Автомобиль скользил краем, проносящий себя путь среди извозчиков и пешеходов, сноующих по площади перед Московским вокзалом императорской Николаевской железной дороги.

Так он и врезался в память, этот автомобиль, в ракот его бескислового двигателя застыл во времени. Стояло только задуматься и прикрыть глаза, как он вспомнился—сначала звук, а потом сам «авто» на заснеженном снегу, пожелтевшем, как старая страница.

В Соединенных Штатах Лихачев встречался с Граммом Юрия ИВАНОВА

Генри Фордом-старшим. Старик, создатель автомобильной империи, пригласил его к себе отобедать. За столом вели разговоры на разные темы.

Об автомобилях ни слова. А затем, когда принесли сигары и кофе, Форд наклонился и сказал доверительно:

— Вы родились под автомобильной звездой. Вас поили не молоком матери, а бензином, черт возьми.

— Это вы мне комплимент... Бензином...

Форд засмеялся.

— Дорогой мистер Лихачев,—сказал он, улыбаясь,—теперь вы убедились, что все дороги ведут в Америку. Вы, крупный советский промышленник, многому научились у нас. Ведите хозяйство у себя по-нашему, и вы добьетесь успеха.

Переводчика звали Любомир Шпирович Голо. Когда-то он работал на заводах Форда, затем вернулся в Москву и слесарил на московском автомобильном. По национальности он был сербом. Английский знал не слишком, но в Детройте автомобилищики его понимали: крыл хорошим становочным жаргоном, так что сразу же возникало полное взаимопонимание.

— Скажи ему, только вежливо, что, во-первых, я не промышленник,—сказал Лихачев, повернувшись к переводчику.—Я слуга народа. Директорская должность мною получена не по наследству, а по воле моей партии. Что касается путей-дорог, тут ты, Любомир Шпирович, не ошибись. Они, скажи ему, временно ведут в Америку. Придет день, и им у нас можно будет многое подзанять.

Форд кивнул. Дескать, может быть. Спорить ему не хотелось. На дворе стоял 1930 год.

— Нам нужны такие люди, как вы. Вы бы и у нас далеко пошли. По глазам вижу,—сказал Форд.

— Сомневаюсь,—сказал Лихачев.

— Дороги встречаются.

Когда садились в машину, вежливый хозяин вышел на крыльцо. Любомир Шпирович охнул: «Иван Алексеевич,уважение-то какое. Сам Форд! Это ж надо... Генри Форд!»

— Деловой парень,—согласился Лихачев и приложил правую руку к шляпе. Пришло ему купить в Штатах серую шляпу с черной лентой, век бы ее не видеть, здорово мешала. Фасон назывался «молодой конгрессмен».

— Будьте здоровы, мистер Форд! Милости прошлые в Москву на АМО, к нам в Симоновскую слободу.

Форд кивнул. Но всего, наверное, не понял. Любомир Шпирович не знал, как по-английски—«слобода».

Было это накануне пуска завода. Завершилась первая реконструкция...

Нет, он родился не под автомобильной звездой и не в семье блестящего русского инженера, как сообщила одна американская газета. Сообщила потому, что в Детройте на заводах Форда, в Италии на Фиате, в Германии у Опеля, в Штутгарте и тихом Гагенau господа иностранцы отказывались верить, что первый автомобиль он увидел в шестнадцать лет.

Автомобиль выворачивал на Невский.

— Что варежку разинул? Закрой, просквозит,—сказал дядя.—Город наш морской.

В Питер Лихачев приехал, потому что надо было зарабатывать на хлеб. Отец умер, на руках у матери Евдокии Николаевны осталось восемь детей—две девочки и шестеро мальчишек. Он—старший.

Дядя работал слесарем за Нарвской заставой на Путиловском заводе, он внушил племяннику: «Слесарь—это тебе, племяш, то же, что столяр, только по металлу. Всегда съят будешь и нос в табаке».

Он работал учеником в мастерской, потом учеником слесаря на Путиловском, а когда началась первая мировая война, его призвали в армию воевать «за веру, царя и отечество».

Гремели салюты. С развернутыми знаменами шли на погрузку полки и батальоны. «Победу России и славянству!—кричали на Невском.—Вильгельма—на Святую Елену!»

По существовавшему тогда положению он призывался не в столице, а в том же Веневе. И служил сперва в 192-м запасном пехотном полку, а оттуда с 1-й мартшевой ротой был отправлен на Западный фронт во Вторую армию.

Он воевал в пехоте, а не на флоте, как принято считать и как указывается почти во всех литературных произведениях о директоре Лихачеве. Про корабли, про штурмы, про лихих братишек в бескозырках он любил рассказывать, потому что море было его несбыточной юношеской мечтой. Такой желанной и солнечной, что до своих последних дней директор завода, депутат Верховного

Совета страны Иван Алексеевич Лихачев любил, когда его называли бывшим моряком.

В анкете он писал: «... год рождения—1896; образование—4 класса и курсы шоферов в 14-м году; член партии большевиков—с июня 17-го года».

В том же июне он был тяжело ранен, лежал в госпитале, и вот, выйдя из госпиталя, большевик Лихачев надел матросский бушлат—форму революции. Он перепоясан пулеметными лентами, на боку маузер в полированной деревянной кобуре, за поясом с медной бляхой гранаты. Он формирует отряды Красной гвардии в Гельсингфорсе и в Москве, потом работает в ВЧК.

У него было две мечты. Море и автомобиль. Первая не сбылась.

И все же Иван Алексеевич был удачливым человеком, лихим и смелым. Он обладал удивительным человеческим обаянием, открывавшим ему все сердца и двери. Но есть в личности Лихачева и еще один дар. Дар удивительный и ни с чем не сравнимый. Любая задача, которую он перед собойставил, точно соизмерялась с масштабами времени. Говоря громко, когда знакомишься с его жизнью, история осеняет тебя своим крылом. События, волновавшие страну, не проходили мимо его судьбы. Они с ним.

О чекисте Лихачеве заводские ветераны рассказывают много, но документально установлено, что бронепоездом он не командовал, агентов иностранных разведок не выслеживал и в конной атаке не рубил до седла усатого есаула.

У него было слабое здоровье. Из ВЧК его перевели в 1921 году на хозяйственную работу, а через пять лет, 30 декабря 1926 года, он пришел на бывший АМО, а тогда Первый государственный автомобильный завод имени Ферреро, итальянского рабочего, погибшего на баррикадах классовых боев в далеком Турине.

Завод АМО строили в 1916 году знаменитые купцы братья Рябушинские. Миллионщики, ухари и «спортсмены»—так писалось тогда это слово. У братьев был капитал, связи и коммерческая хватка. Строительством завода руководил инженер Дмитрий Дмитриевич Бондарев. К тому времени, когда Лихачев пришел на АМО, Бондарев строил уже Ростсельмаш, но память о нем сохранилась.

Выросший в Симоновской слободе, первый в России автомобильный завод был не осуществленным проектом Бондарева. АМО не достроили, и по нашим, современным масштабам его следовало бы называть автомастерскими. На нем собирали полуторки «фиат», а в гражданскую войну ремонтировали броневики. В годы разрухи на заводе делали примусы и зажигалки. Цеха стояли неотапливаемые. Станки ржавели.

Автомобилей было еще очень мало. Меньше 10 тысяч на всю страну—иностранных и собственных, дореволюционного производства. По мощности автомобильного парка мы уступали не только Америке. Мы уступали Польше и Румынии. Автомобили покупались за границей на золото. По московским улицам катили «золотые» автобусы Рено и Ланчия, грузовики Форда и Опеля. Они пугали хриплыми клаксонами горластых ломовиков и лихачей, не признающих никаких правил движения.

Но жизнь налагивалась, стране требовался транспорт, и к двадцати шестому году уже стояла задача посадить крестьянина на трактор, а рабочего—на автомобиль, чтоб быть непобедимыми.

Автомобиль из барского баловства, из атрибута светского спорта превратился в символ восстановления страны, возрождения ее промышленности и творческой силы.

Новый директор знал, что АМО накануне больших событий.

Он разбирался в автомобилях и мог сравнивать продукцию своего завода с мировым уровнем, как шофер. Инженером, тактиком и стратегом автомобильного производства он станет потом. А тогда, в двадцать шестом году, он говорил:

— Братишки, неужто мы грузовика, как надо, сделать не можем Стране Советов!

Новый директор был молодым человеком и по возрасту и по темпераменту. Его тянуло к заводской молодежи. Инженеры в фуражках с перекрещенными молоточками на черных бархатных окольях, те мыслили высокими техническими категориями и блюли свое инженерное достоинство, а он начинал с малого. С режима экономии. Тогда в стране впервые началось это движение.

Он выступал перед заводской комсомолией с докладами о бережливости. Все заводские неурядицы директор высмеивал первым. Крепко доставалось тем, по чьей вине мокли у деревообделочного цеха неубраные доски, работали вхолостую стан-

ки. Очень скоро по заводу пошла молва, что Иван Алексеевич знает, где какой болт лежит. Старые кадровики с уважением стали называть его хозяином.

— Пришло перестроить всю работу завода, дисциплину поднять,—вспоминал он те дни.—Пришло залезать в самую гущу жизни завода, чтобы знать, с кого на заводе что требовать и кто на каком участке будет лучше отвечать поставленным задачам. Надо было вытащить завод из прорыва. Ведь не была даже установлена мощность завода: кто говорил 100 автомобилей в год, кто—800, а кто—1200.

Думал ли он, вступая в новую свою должность, что маленький АМО, выпустивший в 1926 году 100 автомобилей, превратится в крупнейший автомобильный завод Европы и здесь, на этом заводе, он, крестьянский сын Иван Алексеевич Лихачев, проработает 25 лет! Четверть века. И какие четверть века!

Конец эпохи, первая пятилетка, первая реконструкция. Она позволила наладить выпуск 25 тысяч автомобилей в год. Потом вторая реконструкция—50 тысяч. Потом—100 тысяч! «Круглая цифра, считать легче»,—говорил он.

События на КВЖД, озеро Хасан: «На Хасане наломали мы бока»—песня была такая. Красноармейцы пели эту песню в кузовах его грузовиков. Во время гражданской войны в Испании его автомобили возили продовольствие и снаряды республиканцам. Халхин-Гол, линию Маннергейма, Великую Отечественную—все это он прошел вместе с заводом в должности директора.

Автомобиль АМО колесил по дорогам самой большой войны, на его шасси монтировали первые гвардейские минометы—«Катюши» и счетверенные зенитные пулеметы.

В двадцать шестом году никаких специальных знаний, кроме тех, что были приобретены на курсах шоферов, у него не имелось. Но, приедя на завод, он мог сказать:

— Я человек пожилой. К тому же раненый и контуженный. И за свои годы такого насмотрелся, что другому, который экономный, хватит на весь век и останется взаймы дать.

Ему исполнилось тогда тридцать лет. И он только начинал директорствовать.

Здравый смысл подсказывал, что прежде всего требуется решить, какой строить автомобиль. По данному вопросу имелись тогда весьма существенные разногласия. Предлагались самые разные варианты. Хотелось, чтобы с заводского конвейера, которого, к слову сказать, тогда еще не было (автомобили собирали штучно), сходил самый что ни на есть современный, мощный и элегантный грузовик.

Но автомобиль рождается не сам по себе, он не в поле растет колесами вверх. Для его производства нужны качественные стали, резина, электрооборудование, лаки, краски, текстиль, стекла... Откуда их было взять в достаточном количестве в стране, только что вышедшей из разрухи?

Для развития промышленности требовался надежный автотранспорт, а для того, чтобы этот транспорт появился, нужна была промышленность.

Инженерия—конкретная область деятельности. Инженер связан уровнем развития техники. Директор же может не быть инженером, но он обязан быть политиком, понимающим и чувствующим коньюнктуру сегодняшнего и завтрашнего дня.

Надо было строить надежный и крепкий грузовик. Чтоб ездить ему долго, а стоить недорого. И чтоб управлять им было легко, потому что за руль его должен был сесть конопатый деревенский парень, вчерашний хлебопашец, управлявший саварской. И самое главное—этот советский грузовик должен был существовать не в единственном, выставочном экземпляре, а в сотнях тысяч качественных образцов.

— Все мы по земле ходим,—говорил директор.—И автомобиль по ней катится, вот и давайте от земли не отрываться. В облаках аэропланы витают, это—другое ведомство.

И еще он говорил:

— Я считаю, что машину не должны лизать там, где не нужно. Я требую, чтобы машина была рабочей, прочной и дешевой.

Лихачев понимал, что строить новый завод надо с заделом, с прицелом на будущее. Весь заводской организм обязан быть гибким: появилась новая сталь—тут же ее в дело. «Красный пролетарий» выпустил станки мирового класса—сейчас же у себя на АМО и поставим. Вот таким манером, считал директор, постепенно, но верно автомобиль будет улучшаться, а завод становиться сверхсовременным.

Как-то само собой при всеобщей грамотности и наличии дневных, вечерних и заочных вузов забылось нынче, что Алексей Максимович Пешков не имел высшего образования, Сергей Есенин учился писать стихи не в Литературном институте, инженер Можайский сконструировал первый в мире самолет, не успев закончить МАИ, он почему-то был морским офицером, капитаном первого ранга. Создатели первого паровоза братья Черепановы не работали в НИИ, а военачальник Чапаев академий не кончал.

Все это говорится не к тому, чтоб заронить мысль, будто высшее образование и образование вообще не обязательно. Напротив. Сейчас, в век технической революции, потребовавшей от человечества огромных интеллектуальных усилий, движение вперед без него невозможно. Но нет-нет да и мелькнет, будто образование бывает законченным. Десять лет в школе, пять лет в институте — и вот он, диплом. Увы, образование — процесс непрерывный, и диплом только подтверждает завершение одного из этапов. Дальше специалист учится сам.

Иван Алексеевич Лихачев был самоучкой в том прекрасном значении, которое может вызывать только уважение. У него была мечта. Всю жизнь он стремился воплотить эту мечту в металле, этой мечте были подчинены все его планы, он видел ее на бумаге, на синихках и плакатах в своем директорском кабинете, она снилась ему по ночам.

Первый автомобиль выкатился откуда-то справа, будто из-под руки. Шофер был в кепи с прямым козырьком и в очках... «Варежку-то закрой, просквозит», — сказал дядя. — Город наш морской».

С вокзала на трамвае поехали за Нарскую заставу. Тетя Лиза поила чаем с вареньем и все расспрашивала, как в деревне, жив ли дед Семен, звонят ли в Пятиницкой церкви к обедне и как там новый батюшка, молоденький, с русой бородкой. Он отвечал, а сам думал про чудо, проехавшее мимо него на вокзальной площади.

— А у вас на заводе это делают?

— Ну, однако, и сдался тебе энтот примус! Нет, авто у нас не производят, — сказал дядя и запел:

Вдоль над Невой летит стрелою
Авто вечернего порою.
Шофер, поникнув головою,
Руль держит твердою рукою.

Когда он пришел на свой завод, конвейера еще не было. Автомобиль собирали на деревянных козлах. Ставили раму и постепенно прикрепляли к ней все необходимые детали и агрегаты.

Новая модель АМО-3, пришедшая на смену АМО-Ф-15, потребовала конвейера. Она состояла из четырех с половиной тысяч деталей, и весь технологический процесс на заводе нужно было рассчитать так, чтобы, подчиняясь потоку, детали из заготовительных цехов на малых конвейерах подавались бы на главный конвейер, где и сливались бы в единое целое — в автомобиль. Если завод — организм, то отныне менялись законы его жизни.

Конвейерный ритм обязывал человека чувствовать значимость своей работы. Четыре с половиной тысячи основных деталей — это много, но если хоть одна из них, пусть самая скромная, будет подана на главный конвейер не вовремя — общий ритм потерян, завод работает вхолостую. Задача организации четкой работы на огромном предприятии решалась в нашей стране впервые. Проблема завода перерастала в проблему общегосударственную.

Каждые четыре минуты 12 секунд с главного конвейера должен был сходить готовый грузовик мощностью в 66 лошадиных сил. Когда до этого не завод, а Россия мерила время на секунды?

Были другие измерения. Триста лет татарского ига, триста лет дома Романовых, пуды, аршины, сажени и версты... Ваше превосходительство, ваше благородие, ваше степенство — все было, а секунды не было.

Первый АМО-3 родился в час ночи 21 октября 1931 года. Лихачев, по-бычьи пригнув голову, влез в кабину.

— Давай по старой памяти поведу ее!

Он резко взял с места, буркнул под нос: «Нервничаю, что ли?» Усмехнулся и переключил на вторую передачу. Директор всегда сам испытывал новые модели своего завода, участвовал в испытательных пробегах.

Первое шасси легкового автомобиля ЗИС-101 было собрано в марте 1936 года. Для обкатки его оборудовали деревянным сиденьем. Ни крыльев, ни ветрового стекла еще не было. Заводской автомеханик Николай Трофимович Осипов поставил машину у ворот, а сам пошел надеть пальто и шапку. И

шарф повязать. Без лобового стекла запросто можно простигнуть.

— Вышел я утепленный, — вспоминает Николай Трофимович, — а машины-то и нет. Заволновался. Кинулся туда-сюда. Нет! Но вскоре автомобиль появился. За рулем сидел Иван Алексеевич.

Директор не вытерпел и сделал круг по территории завода. Но этого ему показалось мало. Вдвоем с Осиповым они решили махнуть в Подольск и обратно.

Мокрый снег бил в лицо, засыпал колени, ветер пронизывал до костей, но Ивану Алексеевичу было весело, и всю дорогу, все 70 километров — 35 туда и 35 обратно — он шутил:

— Николай Трофимович, похожи мы на авиаторов?

— Да как сказать, Иван Алексеевич, и да и нет.

— Мы на моржей похожи, на усах сосульки, — раздавался директор и все хотел вспомнить слова старой песни про молодого шоффера, который держал руль твердой рукой. Мотив-то он помнил, а вот слова забыл.

В феврале 1939 года Ивана Алексеевича назначили наркому среднего машиностроения. На этой должности он проработал чуть больше года и в ноябре 1940-го вернулся на завод, заявив почти во всеуслышание, что наркома из него не получилось по причине полного отсутствия дипломатических талантов и способностей. Может быть, он был не совсем прав, когда говорил, что «товарищем директором интересней, чем товарищем наркому, меня от бумаг в цех тянет», но ему нужно поверить. Он мыслил конкретно и должен был видеть свое дело каждый день, трогать его руками, дышать заводским воздухом, брать за горло прорывы, не спать ночами, спорить, сердиться и радоваться каждому успеху.

Может сложиться впечатление, что он был только производственником, а вопросы большой автомобильной политики его мало интересовали. Но еще в 1934 году, прогнозируя завтрашний день, он настаивал на производстве массового малолитражного автомобиля. Считал, что грузовые автомобили и автобусы должны быть дизельными. Разрабатывая перспективную карту шоссейных дорог страны, он требовал, чтобы дорожное строительство велось капитально, ибо нет ничего постоянней временных решений.

И все-таки о сегодняшних масштабах он, наверное, не мечтал. И не мог мечтать. Другие автомобили сходят с главного конвейера, другие люди спешат к заводской проходной, перед которой стоит бронзовый бюст того, чье имя носит завод.

Бронзовый Лихачев не похож на живого Лихачева. В живом как раз меньше всего было бронзовости. Директор всегда был для рабочих «своим». Носил гимнастерку, перепоясанную широким командирским ремнем, и высокие хромовые сапоги. Летом любил ситцевые рубашки в полоску и всем доказывал, что мастеровые и уважающие себя мужчины должны одеваться просто. «По одежке только встречают, а провожают, учитывая еще и другие показатели». Внешне он ничем не отличался от тех, кто стоял у станков и конвейеров завода.

Потом он стал чуть элегантней. Бывший начальник производства Алексей Васильевич Кузнецов рассказывает, что однажды собирались на совещание у директора, глядят, а на Иване Алексеевиче шелковая «бобочка» цвета крем-брюле. Вот те раз! Все очень удивились, и Лихачеву пришлось рассказать историю своей обновки.

Накануне в Кремль на Ивановской площади правительству показывали новый автомобиль. Всешло хорошо. Но вдруг Сталин обернулся к Орджоникидзе и сказал: «Товарищ Серго, купи Лихачеву полдюжины хороших рубашек, а то ему, по-видимому, жалованья не хватает на приличные рубашки». Вот и пришлося директору изменить свой привычке, но не слишком.

Он был человеком продолжительных привязанностей. Любил по воскресеньям пироги с капустой. Обожал париться в бане. И очень ему нравилось напичтиться с винчкой.

Рассказывают, что он уважал людей пишущих, всю жизнь мечтал уехать на месяц-другой куданибудь в тихие места и там засесть писать толстую книгу, может, даже роман о том, что видел и пережил, потому что ничего не мог хранить в себе.

А видел он много.

Когда немцы подходили к Москве, Иван Алексеевич руководил эвакуацией своего завода, выдавал удостоверения начальникам цехов и служб. И тогда старый амовец Михаил Абрамович Фильцер не выдержал:

— Иван Алексеевич! Куда мы поедем в такое время! Давай лучше в лес уйдем. Ведь за тобой

тысяч двадцать заводских пойдет. Партизанить будем. Ты у нас за командира! Мы же такое сражение устроим...

Глаза Лихачева блеснули. Это предложение очень подходило его чапаевской натуре. А что, если и в самом деле? Собрать своих ребят и ударить. Ведь драться будут как черти!

В кабинете стало тихо. Лихачев молчал, закрыв глаза. В ту минуту он видел всех тех заводских ребят, настоящих парней, которые пойдут за ним в бой. Или представлял, как его армия гонит немцев на запад.

— Бери удостоверение, — сказал он устало. — Тоже выдумал. Выполняй приказ. На востоке заводы будем строить, фронту автомобили не меньше солдат нужны, голыми руками Гитлера не возьмешь. Затяжная война.

Фронт требовал автомобилей, и ЗИС-5 превратился в ЗИС-5В, грузовик военного времени. Заводские конструкторы заново спроектировали кабину. Надколесные крылья сделали гнутыми из листового проката. Довоенные — штампованные, с глубокой вытяжкой — крылья были слишком дороги.

ЗИС-5В был сделан без фар: ночью на фронте в целях маскировки свет не зажигали. Кузова не имели петель, так что боковые борта не откidyвались. А вот мощность двигателя увеличили на 11 лошадиных сил. Повысили степень сжатия и перешли на алюминиевые поршни. В военном варианте этот грузовик, снискавший себе добрую славу на дорогах Отечественной войны, выпускался вплоть до 1946 года. Это был надежный грузовик. «Зисуха не подведет», — говорили фронтовые шофферы, и есть данные, что немцы охотно и без снисходительной улыбки пересаживались из своих «бензов» и «опелей» на скромные «ЗИСы».

Все военные годы Иван Алексеевич продолжал делать свое директорское дело. Причем на его плечах было не один завод в Москве, а пять заводов в разных концах страны. И он сумел так организовать все это производство, что фронт беспредельно получал не только грузовики, но и вооружение. Это и был его подвиг, его вклад в нашу победу.

Он был уверен, что настанет день, должен настать, и к нам приедут учиться господа капиталисты. Это сейчас можно спокойно говорить, что не все промышленные пути-дороги ведут в Америку, а тогда... Какой оптимизм нужно было иметь, чтобы не просто так — ведь он же не шутил, — не из ухарства, а в здравом уме и твердой памяти, не у себя дома, а в столице могнейшей автомобильной державы и кому — самому Генри Форду старшему! — сказать, что придет время — и, милости просим, учитесь у нас. Он верил, что такое время обязательно наступит.

Да, он был «крутым советским промышленником», он служил своему делу и поэтому твердо верил, что если мы посадим крестьянина на трактор, а рабочего — на автомобиль, то будем непобедимы.

Он стал директорствовать в те годы, когда советская промышленность еще только становилась на ноги после гражданской войны и разрухи. Никто не знал, как управлять заводом и что входит в круг обязанностей директора. Лихачев рос вместе со своим заводом, набираясь опыта и той директорской мудрости, о которой так любят рассказывать заводские ветераны. При нем началась борьба за режим экономии, был пущен первый в стране конвейер, завод превратился в крупнейшее предприятие мирового масштаба, а марка Московского автомобильного стала символом высокого качества. Уже давно нет на заводе Ивана Алексеевича, но его имя по праву в названии завода, над главной проходной, над цехами, корпусами и на каждом автомобиле, выезжающем отсюда в большую жизнь.

Лихачев был представителем легендарной когорты наших хозяйственников, крупнейших организаторов производства, пророков и гениев первых пятилеток, таких, как Завенягин, Ваников, Мальшев, Тевоян, людей, мысливших интересами государства. Они связали свою судьбу с судьбой страны, были хозяевами и слугами Союза Советских Социалистических Республик. Сила Отчизны была их силой. Победы — их победами. Невзгоды страны — их личными невзгодами.

Его, Лихачева, и таких, как он, родила революция. Были Лихачевы инженерами, были учеными. Они считали, что, посадив рабочего и крестьянина за книгу, мы будем непобедимы. Были Лихачевы врачами. Они знали, что, дав народу здоровье, мы будем непобедимы. Были Лихачевы воины, были строителями, были моряками и поэтами. Основной закон времени учил их, что надо отдать себя своей стране, и тогда мы будем непобедимы.

девки приехали

Ф

аина Борисовна чего-то записала в блокнот.

Мишка, встрепенувшись, протянул руку к ее блокноту.

— В печати можно не отражать. Уже зафиксировано.—Он подчеркнул ногтем нужную графу.—Вот полюбуйтесь... Восемнадцать и семь десятых процента, тогда как в «Рассвете» шестьдесят два...

— Плохо работаете,—подколола его Надежда и отвела взгляд от Фаины Борисовны, потому что та опять уже хмурилась.

Ох, и строгая же у них наставница, и слова не даст сказать.

Мишка повернулся к Надежде.

— Мы уже слышали это, товарищ Сорока-а-жердьева.—Он умышленно перервал ее фамилию надвое.—Вчера с председателем колхоза отчитывались на бюро райкома. Оба склонялись по выговору.

— Бедняки,—снова не удержалась Надежда.

— Ничего,—приодобрившись Мишка и кивнул на Кирию.—И с ним поделимся.

Про выговоры в их сценарии ничего намечено не было, и Кирия вымученно заулыбался.

— А чего лыбишься?—вскинулся на него Мишка.—Твоя бригада завалила дела, а ты и чистенькие хочешь оставаться? Не-е-ет, и тебе вкатаем по первое число.

— Да ведь людей нету,—заоправдывался Кирия.—Одни старухи... Чего я буду с ними?

Мишка приподнял правое ухо и руку еще, паразит, приставил к нему.

— Соловей!—насмешливо сказал он.—Слышили, что поет? Людей нету,—и неожиданно закричал:—А нас на бюро об этом не спрашивали, есть или нет у тебя люди! Нам сказали, мобилизуйте имеющиеся резервы. Чтобы сводка была на сто процентов—и все.

«Ну, чего позоришь-то? Чего?—умолял его Кирия глазами.—Ведь договаривались же без всякого бюро... Ведь говорили, что создалось трудное положение с кормами... Затяжная весна... А ты... Крик тут поднял...»

Фаина Борисовна нетерпеливо ерзала на стуле, пережидала, когда начальство уйдет. Записывать она после Мишкина запрета уже ничего не решалась.

— Нам на бюро так и заявили,—остыкая, сказал Мишка.—Использовать все резервы, поднять на борьбу за производство кормов все совершенномолоднее население—и старух и стариков... и всех! Им такое распоряжение из области поступило, а в область—из Москвы.—Он выжидающе посмотрел на девчонок, но они не догадывались, куда он клонит и что значит это «и всех».

Надежда заулыбалась Мишке.

— У вас и председатель колхоза такой же молодой?—спросила она игриво.

Мишка споткнулся.

— Не имеет значения,—сбитый с мысли, нахмурился он и, опомнившись, добавил:—Молодое ли, старое начальство—его уважать надо.

Сумел-таки и спотычу обратить в свою пользу.

— В общем, товарищи,—сказал он,—вы мобилизуетесь на заготовку кормов.

Девчонки пришибленно захлопали глазами. Даже Ларисе изменило чувство уравновешенности. И у нее губы вытянулись от изумления.

— Да как же так?—спохватилась Фаина Борисовна.

Но Мишка предостерегающе поднял руку, остановил ее:

— Я у вас паспорта смотрел, все совершенномолодые... Подпадаете под решение бюро и вышестоящих органов.

— Но... прощите,—встала Фаина Борисовна, прижав к груди руку.—У нас программа... Она бросилась к подоконнику, где лежала стопка книг и тетрадей.

— Вот, видите, утверждена кафедрой,—показала она отпечатанные на машинке листки. Кирие стало жалко ее: а ну разрыв сердца произойдет у женщины? Нашутковали, пожалуй... Но отступать-то не станешь тоже... Позади, как говорится, Москва.

— Вы понимаете, создалось трудное положение с кормами,—жалостливо сказал Кирия.—Была затяжная весна, трава совсем недавно пошла в рост. А на носу жатва... Необходимо в скатые сроки завершить сенокос.

Фаина Борисовна почтительно поклонилась, что бригадир в чем-то уже сдается и вроде бы не настаивает, а лишь уговаривает их.

— Миленькие мои,—сказала она, заламывая пальцы.—У меня же программа... Если я не выполню ее, меня уволят с работы.

Мишка встал и, сделав навстречу Фаине Борисовне шаг, поднял вверх указательный палец.

— Уважаемая,—раздраженно сказал он.—У нас одна программа—выполнить план по молоку и мясу.

Фаина Борисовна огороженно села на стул.

— Но мы же ничего не умеем,—растерянно выдохнула она.

— Ничего,—бодро сказал Мишка.—У нас, как в армии: не умеешь—научим, не хочешь—заставим.

Фаина Борисовна безвольно опустила на колени руки.

Мишка взял портфель, нахлобучил на голову кепку и церемонно попрощался со всеми девками за руку.

— До скорою свиданьица,—сказал он и улыбнулся Ларисе. Она растерянно смотрела на него. От порога Мишка обернулся и добавил:—А газетку вам оставляю, может, на досуге почитаете и про нашу жизнь.—Он пропустил перед собой Кирию и, выйдя следом за ним, закрыл дверь.

С минуты на минуту из магазина могла возвратиться без селедки разозленная Тишиха.

5

Тишиха всю обратную дорогу плевалась: «Ну что за собачонок такой?—и грозила Сережке Дрессянину всеми карами.—Подожди, отольются и наши слезы. Думают, на век молодыми останутся... Не на ве-е-ек!»

И ведь какая корысть старух обманывать? Выглядывает, наверно, откуда-нибудь из-за угла, похвачивает, перед дружками хвастается: «Это я ее сгноял через все Полежаево».

Посмотрела на окна—девок за столом не было.

Тишиха вытерла салоги о ребристую, из деревянных плашечек подставку, зло звякнула металлической щеколдой и открыла дверь в сени.

Батюшки светы! Как свиньи побывали, весь пол затоптан. «Да что это они не остереются-то совсем?—подумала Тишиха о своих квартирантках, а в избу вошла—и того страшнее: у стола вдоль лавок целый пол, ошметки грязи посередине пола валяются, их-то бы можно собрать...»

Окончание. Начало в № 18.

— Вот навязались на мою голову, только пол успевай мыть.—Она не смотрела на девок. Сбегала, намочила в ведре, стоявшем под потоком, тряпку и давай на коленках ползать, грязь в сенях смывать. В общем-то наслаждено было не так уж много, это Тишиха сгоряча нашумела на девок. По одной половчинке только и пройтись тряпкой досталось.

Тишиха, успокаиваясь, сполоснула тряпку в ведре, отжала ее, а грязную воду выплеснула и пошла обтирать пол в избе. Ошметков у стола уже не было.

Девки скованно жались друг к другу на скамейке за комодом.

Тишиха присела собирать тряпку лужицу воды, вытянувшуюся вдоль лавки, и все почему-то ждала, что вот сейчас Фаина Борисовна коснется ее плеча и скажет:

«Федосья Тихоновна, вам внаклонку вредно».

Тишике уже показалось, что скрипнула половица, что слышны стали приближающиеся шаги Фаины Борисовны. Тишиха приготовила ей ответ:

«Да тут и немного совсем. Разве по столу мне мыть приходится...»

Она согнала лужицу, протерла пол на сухо—Фаины Борисовны не было за спиной.

Тишиха поправила ложем съезжавшие на лоб волосы и только тогда заметила: у девок-то чехоманы в кути стоят и плащи на них брошены. Глянула на стол, на подоконники—ни тетрадей, ни книжек.

— Да вы куда наладились-то?—испугалась Тишиха, что они обиделись на нее. Ну-ка, одним махом свернулись, до чего горячие. Пока Тишиха в сенях половицу вылизывала, они уж и чехоманы к дверям выставили.

— Ни-и-куда не поедете!—решительно заявила она.—Смотри-ко, сердца-то—как у петухов, и слова молвить нельзя.

Тишиха сняла с чехоманов плащи, повесила их на крючки, вбитые в стену.

— И не выдумывайте! Не отпуши! Чего уж я такого и обидного вам сказала?

Фаина Борисовна виновато поднялась со скамейки:

— Мы, Федосья Тихоновна, переезжаем от вас в другую деревню.

— Это еще куда?—коршуном подлетела к ней Тишиха.

— По-видимому, в Переселенье.

Тишиха всплеснула руками: просились на неделю, а уж запели про Переселенье.

— Да вы хоть знаете ли, Переселенье-то где?—спросила она.—Туда ведь двадцать верст, а дорога-то, видишь, какая? Ни одна машина сейчас не пройдет.

— А до соседнего колхоза далеко?—увавшим голосом поинтересовалась Фаина Борисовна.

— До соседнего-то?—прикинула в уме Тишиха.—А верст восемь с гаком... Да вы чего? Никак и в самом деле надумали уезжать?

— По-видимому, поедем, вздохнула Фаина Борисовна.—У нас программа срывается.

Вот тебе раз! С утра не срывалась, а тут засрываешь сразу. Тишиха сообразила, что в ее отсутствие что-то произошло. Она придирично присмотрелась к девкам—господи, да они же босые сидят, в одних капроновых чулочках. И ведь когда в сенях Тишиха мыла, так видела: девочки туфли притулились у дверей, чистенькие. А вот—злая была—не соединилось в голове-то, что раз обуток на месте, значит, не квартирантки грязи нанесли в дом.

— Да кто хоть у вас был-то?—спросила Тишиха.

Фаина Борисовна, видимо, поначалу не хотела объяснять причины поспешных сборов, а тут вопросом Тишихи оказалась приплетой к стенке.

— Председатель сельсовета был,—сказала она, покосившись на дверь, будто та могла в эту минуту распахнуться и впустить подспудившего ее признания председателя сельсовета.

— Иbrigadir,—добавила Надя.—Ой, что тут было!—заволновалась она.—Друг на дружку кричат. На нас тоже заповышали голос...

— Пьяные?—уточнила Тишиха.

— Да нет,—пожала плечами Надя.—Луком вроде пахло от них...—Она еще подумала, вспомнила гостей.—Непохоже, что пьяные. А хуже и пьяных. Как в период военного коммунизма, мобилизацией нам угрожали... Говорят, с сенокосом провал, восемнадцать и семь десятых процента.—Надя передразнила председателя сельсовета.—Всех совершенномолодых на сенокос! Не умеешь—научим, не хочешь—заставим!

— Постой, постой,—остановила ее Тишиха.—А председатель-то однорукий?

— Не-е-ет,—удивилась Надя.—С двумя руками. Молодой такой. С портфелем, в плаще...

— Ой, да ведь это наши жеребцы, Мишка Некипелов с Кирей Обабком. Смотри-ка, от ума вас отставили...

Она Мишу-то с Кирей видела, когда побежала в магазин за селедкой. Еще хотела крикнуть им, что закуска плавает по прилавку, но парни так угонисто вышагивали под гору, что Тишиха подумала: в «Сельхозтехнике» пешком полетели—с ремонтом, видно, у тракторов приспичило, в колхозных же мастерских ничего не сделать. А они, голубчики, прямым ходом к ней в избу...

Тишиха засмеялась:

— Ну, девки, парни пришли завлечь вас, а вы перепугались...

— Какое завлечение,—возразила, подбоченившись, Надя. Панталоны с незнакомыми птицами колыхнулись на ней, как цыганская юбка.—Я уж им глазки строила, не реагируют... Только сенокосом пугают.

— А, вахлаки-и,—заключила Тишиха.—Девок-то в Полежаеве в глаза не видят, так совсем одичали, не соображают ничего. Ты заигрываешь, а они—как слепые.

Фаина Борисовна, все еще не пришедшая в себя после того, что произошло полчаса назад, ошеломлено стояла, скрестив на груди руки.

— Да нет, что вы, Федосья Тихоновна, пре-дсе-е-да-атель,—сказала она, втягивая в плечи шею.—Я шестой раз в экспедиции, не могла ошибиться... Он командировки требовал немедленно отмечать.

— Милая,—успокоила ее Тишиха.—У нас председатель-то однорукий. Соколов Егор. И не молодой, перед пенсийей уже... А это парни резятся.

Фаина Борисовна все еще не верила ей. И Тишиха даже обиделась, что она такая невера:

— Есть ему когда вдвоем-то с бригадиром ходить... У них, милая, распределено все. Один на ферму несется, другой на луга, а председатель колхоза куда-нибудь третьей затычкой лезет. Им ведь побольше ухватить надо. Так они к тебе вдвоем и попрутся...

Тишиха пошла на кухню разогревать самовар. Девки наизбе зашептались между собой.

«Вот-вот, охолоните немножко,—усмехнулась она.—А то в Переселенье они собирались, мокрохвостки...»

6

Тишиха накосила в лугах осоки: соломы-то старой нет, а до свежей еще неблизко, но ведь матрасы девкам надо чем-то набить, не на голом же полу им спать. Осока уже выветрела, будто ее и дождем не мочило, а теперь вот появляет часика три на солнышке—и не хуже соломы: не отлежишь на такой постели бока.



Тишиха обтерла кусу травы, повесила ее на плечо и повернула к дому. Глядь, торопится к ней Фаина Борисовна, по-журавлиному переставляет ноги в траве.

— Не ходи, осокой изрежешься,—замахала на нее руками Тишиха. Но Фаина же Борисовна не понимает ничего: она как маленькая,—в городе выросла. Ноги уже кровоточили у нее.

— Федосья Тихоновна, давайте я помогу,—отобрала она у Тишихи кусу. Не велика тяжесть—коса, да внимание приятно.

— Вот вам работа к вечеру,—указала Тишиха на свою кошенину.—Соломенники будете себе набивать.

— Да, да, хорошо,—закивала Фаина Борисовна.

На дороге их поджидала Степаха, простоволосая, без платка, в вышитой—красными лапушками—кофте, в пестрядинном—еще в молодости, наверное, вытканном—сарафане. В руке у нее был белый бидончик, и Тишиха сразу догадалась, что Степаха пришла с молоком.

— Ухайдакалась, девка?—сочувственно спросила Степаха у Тишихи и посмотрела в луга, где среди зеленющего колыхания травы неподвижно покоялась пластина выкошенного пятачка.

— Ой, подруга, не говори,—призналась Тишиха.—Охалки три натяпала осоки, как после бани—вся мокрая.

— Да, теперь уж старые кости и солнце впол силы греет,—сказала Степаха и подала Фаине Борисовне бидончик.—Это вам... У нее коровы-то нет,—указала она на Тишиху.—А в деревне без молока и хлеб не жуется.

— Ну что вы!—заотнекивалась Фаина Борисовна.—У нас консервы есть.

— Бери, бери,—посуровела Степаха.—Кому говорят, бери.

Фаина Борисовна растерялась.

— Я сейчас за деньги сажу,—сказала она, держа бидончик в вытянутой руке.

— Я тебе сажу за деньги!—прикрикнула на нее Степаха.—У нас молоко свое.

Она говорила это и смотрела куда-то вдаль, в луга, и уже слушала Фаину Борисовну вполуха.

— Господи,—всплеснула руками Степаха.—Да лошади-то за что такая кара?

Она горбясь засеменила вниз по дороге—побежит, побежит,хватится руками за грудь, пойдет шагом и опять побежит.

За рекой ходила в лугах запряженная в одноколку лошадь. Пустые фляги перекатывались в телеге с боку на бок.

Тишиха тоже охнула: лошадь могла залететь в зыбун—в полежаевских лугах через каждые двадцать шагов болотистые трясины.

— Ой, опять молоковоз сшибаловкой занимается...

— Чем, чем?—не поняла Фаина Борисовна.

— Чем же еще? Водку хлещет.

Лошадь-то, бедная, оголодала, наверно, стояла-стояла, привязанная к углу, да не выдержала, оторвалась.

— А почему сшибаловкой?—недоумевала Фаина Борисовна.

— Да как не сшибаловкой-то? Только и ждет, кто угостит. На чужие сшибает.

Не любила Тишиха Петью-молоковоза. Ой, не любила! Про таких говорят, что у них память совсем отшибло, где победали, туда и ужинать идут. Бывало, постучит Петью-молоковоз в окно: «Тихоновна, опохмелиться нет ли?» А не откажешь: потом его же и будешь умолять, чтобы дров привез. И ведь с паразитом давно рассчиталась: на прошлой неделе свалил у ограды воз осинника, так сразу же и заткнула горло бутылкой; весной привозил березовые дрова—так тоже деньгами не взял. «Нет, нет,—говорит,—ничего не надо»,—а от бутылки не отказался. Вот, повышали цену на водку, говорили: мужики меньше пить станут. А им чего меньше-то пить? Повышение-токазалось на старухах, а не на пьяницах. Раньше, до повышения, по бутылке за воз брали и теперь по бутылке. Так мало того, уж победали бы вроде давно у тебя, так еще и ужинать не один раз забредут. Хорошо, что в Полежаеве Мишка с Кирей есть, эти завсегда вырут, дров на тракторе привезут.

Степаха уже перебежала по мосту через реку, свернула в луга. Раза два, перебираясь с кочки на кочку, оступилась, вывозив сапоги в торфяной жиже, да хорошо, хоть не утопила совсем их.

Она поймала лошадь за узду, повела ее на пригород. Фляги, перекатываясь, загремели.

— Боевая старушка,—восхищенно сказала Фаина Борисовна.

— А вашего председателя сельсовета родная бабушка,—засмеялась Тишиха.—Мишки-то Некипелова, который вас на сенокос отправлял,—и горделиво протянула:—По-о-роду видать.

И Мишка на работе ни перед чем не постоит. Такой уж ухватистый.

— Хулиган он,—нахмурилась Фаина Борисовна.

— Ой, нет,—не согласилась Тишиха.—Когда ему фулигани-то? Его ведь ночь угнала и ночь пригнала: я печку встаю затоплять—а у него уж под окошком трактор рёгочет; вечером я уж спать легла—он только с работы едет, от трактора в рамках стекла дрожат... Нет-ет. Мишка не фулиган. Он веселый—вот это правда.

Степаха уже вывернула на проселочную дорогу, поднялась на мост, и, держась левой рукой за передок, правой раскрутила над головой вожжи:

— А ну, залетная!

Лошадь сбежала с моста впритрус.

— Нет, не фулиган Мишка. Он у нас настырно работает,—не успокаивалась Тишиха.—Они с Кирей Обабком... с бригадиром-то вашим,—опять засмеявшись, подоткнула она под бок Фаину Борисовну,—с Доски почта не сходят. Люди до работы...

— Я о работе ничего не говорю,—сказала Фаина Борисовна.—Я имею в виду поведенье.

— А что поведенье?—еще больше обиделась за ребят Тишиха.—И поведенье хорошее. Выпивать зря не выпивают, не матюгаются.

Фаина Борисовна поджала губы.

Тишиха перевесила кусу с одного плеча на другое.

— Это уж они с вами-то раздухарились,—заулыбалась она.—Ну так еще бы: такие девки приехали. На ранешних бы ребят нарвались, так они бы попусту-то молоть языками не стали, а раз-раз—и пощупали бы вас...

Фаина Борисовна покраснела, хотела чего-то сказать, но подъехала на телеге Степаха.

— Тпру,—остановила Степаха лошадь и повернулась к Фаине Борисовне.—Девки, приходите вечером ко мне ужинать... Я вон там за сельсоветом живу, второй дом налево.

— Они твоего внука боятся,—сказала Тишиха.

— Да его уж и след простыл... Силосуют на Межакове хуторе. Дай бог, если в полночь домой заявитись... Приходите, у меня мяса нажарено.

Фаина Борисовна не успела сказать «спасибо», как к ней потянулась здороваться хуторская Огреша. Тишиха и не заметила, когда Огреша подкатилась к ним. На локте у нее висела сумка с двумя буханками хлеба—из магазина бежит.

— И ко мне приходи,—пригласила Огреша.—У меня тоже в печке мясо томится.

Фаина Борисовна растерянно кивала головой бабам:

— Да, да, спасибо.

Степаха взмахнула вожжами, поехала на конюшню выпрягать лошадь:

— Да вчера жду...

Бидончик оттянул Фаине Борисовне руки.

— Я, пожалуй, пойду,—замялась она.

— Иди, иди, милушка,—отпустила ее Тишиха.

И едва Фаина Борисовна отошла от старух, Огреша хуторская наклонилась к Тишихе:

— Это что за девка? Чего-то признать не могу.

— Да ты же в гости ее звала...

— Ну, Степаха-то ведь тоже звала...

— Экспедиция это,—доверительно пояснила Тишиха.—За языком приехала.

Огреша виновато заморгала ресницами.

— А чей язык-от?

— Да наш.

— Ой, господи, как чего они с им делать-то будут? — все еще не понимая, о чем идет речь, засмеялась Огреша.

— Да не солить же! — рассердилась Тишиха. — Про жизнь записывают, кто как расскажет.

Огреша удивленно качнула головой.

— Гли-ко, и про нас вспомнили. — Радостные морщинки залучились у нее под глазами. — Ой, ведь у меня есть чего про жизнь рассказать... Ты видела ли, сколько у меня на заборке почетных грамот наклеено? Ой, мне ведь и медаль первой вручили. Еще значок какой-то из Вологды привезли — три года ни один теленок не умер, падежа не было.

— Да они не про работу спрашивают, — поправила Огрешу Тишиха. — Они про жизнь.

— Ой, как какая это жизнь без работы? — удивилась Огреша. — Я про работу только и помню.

7

— Вот еще одна славутница — представила Тишиха хуторскую Огрешу своим квартиранткам. — Сорокина Аграфена Матвеевна.

Огреша кивала головой: да, да, мол. Сорокина Аграфена Матвеевна, все правильно. Она села к столу на лавку.

— Вот ее записать-то, — продолжала Тишиха. — Ой, много переживаний у нее было.

— Да, да, — согласилась Огреша и без всякого предложения со стороны Фаины Борисовны сказала: — Не знаю, откуда и начать: как в девках жила али с колхозом?

Фаина Борисовна выдернула с подоконника свой блокнотик.

— Ну, давайте немножко скажу, как в девках жила, — решила Огреша. Она уложила руки на колени, но там им было, видно, неловко, и она спустила их к полу. — Можжат, — вздохнула Огреша. — У меня пальцы всякую непогоду знают: видно, опять погода сомнется...

Пальцы у Огреши были пухлые, как коровы соски, только соски розовые, нежные, а у нее хоть и розовые, да все в трещинах.

— Ты, Огреша, сколько лет в доярках-то ходила? — спросила Тишиха.

— А с самого колхоза, — подхватила Огреша. — С тридцать второва году... — Она улыбнулась воспоминаниям. — Ой, я ведь долго работала! Из доярок-то выстала уж старухой... Семилетку объявили как раз... Так я уж семилетку-то не делянула, сил не хватило, а через пятилетки прошла через все, от первой и то захватила хвостик...

— Так сколько же вы на ферме работали? — уточнила Фаина Борисовна.

Огреша напрягла память — зашевелила губами, уйдя в расчеты.

— Федосья, — обратилась она к Тишихе, — когда для колхозников пенсии-то ввели? И Тишиха наморщила лоб, прикрыла глаза ресницами.

— Да ух давно, — сказала она.

— Это я и без тебя знаю, — отмахнулась от такой помощницы Огреша. — А вот когда? — Она еще пошевелила губами и высчитала.

— Пенсии ввели с шестьдесят пятого году... — и пояснила девкам, откуда она заключила это: — Семилетку-то объявили в пятьдесят девятом... Ну да, в пятьдесят девятом. У меня Нюкка, дочка моя... через две зимы после объявления-то завербовалась на стройку, а я ишо без нее больше года коров доила... Так вот, шиширайте сами, сколь работала. — Огреша победно посмотрела на девок, уже в уме-то давно все высчитав и расставив годы один за другим в том порядке, в каком они были в жизни. — Двух лет только до пенсии-то и не додержалась. А и мне дали пенсию, да-а-ли, никому не пожалуюсь...

— Ну так, еще бы не дать: тридцать лет отработали, — почувствовала Фаина Борисовна.

Огреша, уловив в ее голосе жалость, нахмурилась:

— Ой, почету-то мне ведь сколь было... Нигде эстолько не бывает, сколь в доярках...

И Тишиха тоже вспомнила, что на всех собраниях Огрешу садили в президиум, а уж на совещания-то в район повозили, бывало, несчетно раз.

Как-то само собой вышло, что натолкнули ее говорить про колхоз.

— Да-а, мы в колхоз-то вступали, так все хозяйство отдали и самих себя. С наших капель все начиналось. — Огреша пошевелила внизу, у пола, распухшими пальцами. Видать, к непогоде их ломило неудержимо, и Огреша морщилась. — Да чего вам про то время рассказывать, сами знаете, грамотные.

— Нет, не знаем мы, — вытянула шею Надежда. Верхние пуговицы у нее на блузке выскочили из петель, и из-под разъехавшегося ворота выпирали острые ключицы. Лариска, та не рассунутся себя, сидит, как при парнях, все до единой пуговки застегнуты.

Огреша помяла пальцы, и Тишиха подумала, не предложить ли ей блюдо холодной воды: пусть поможет — вода-то сымает колотье. Но разве Огреша согласится при девках — гордости-то и сейчас через край.

— Вот посмотрю на вас, какие вы нарядные, — без всякой зависти сказала Огреша. — А я в девках-то ходила в пестрой юбке, в лаптях...

Видно, все-таки вспомнила, что обещала рассказать, как в девках жила.

Тишиха тоже встремляла в разговор.

— Ну, нынешние ни на че не скуются, — сказала она. — Косить и загребать в шелковом ходже. А на стенах-то, посмотри, по четыреста рублей ковры висят.

— И на полу, милая, по четыреста, — дополнила ее Огреша. — Ну да, ведь чего жалеть: теперь кто работает — по деньгам ходят.

— А мы-то молодость за что погубили? — спросила Тишиха.

— Ой, милая, да на нас-то плевать. У меня вот на два раз не хватит пенсии — поодинова будущество... Лишь бы деткам-то хорошо было.

— Это то так, — согласилась Тишиха. — Да ведь ты сама говорила, что с наших капель все начиналось. Сейчас конюха, скотницы по полторы сотни зарабатывают в месяц, трактористы, да вон и до трехсот с лишним. У них пенсия-то, знаешь, какая выйдет, не то что у нас с тобой. По восемьдесят рублей и более...

Огреша беззаботно махнула рукой.

— Подожди, прибавят... Одинова прибавляли, поймут, что мало, и вдругорядь прибавят. Только бы надо кое-кого подоткнуть на это дело. — Она выжидающе посмотрела на девок, сидевших с карандашами в руках, и, увидев, что они чего-то записали в блокнотах, успокоилась.

С руками ей, видно, стало невмоготу — Огреша поднялась.

— Девки, да вы приходите ко мне, у меня вся заборка почетными грамотами оклеена. А сколько я самоваров в премию наполучала — и не сосчитать. Теперь три только осталось, а штук восемь размаркиданила. — Она скосила взгляд на блокнот Фаины Борисовны. — Да как али это все и записали, чего тут я перед вами навычеверкивала?

— Записали, — сказала Фаина Борисовна.

— И напечатали это все? — не поверила Огреша.

— Да, готовится сборник научных работ по диалектологии.

Огреша недоверчиво покачала головой, и ей, видно, хотелось прочитать про свою жизнь.

— Про меня вообще-то много в газетах писали, — похвасталась она. — Бухну за год три тысячи от коровы — напишут: у Сорокиной три тысячи. Бухну три двести — опять напишут: у Сорокиной три тысячи двести... Еще бы на ферме работала: больно почта много. Да руки можжат... Не могу и трех коров теперь продоть.

Она расслабленно потрясла пальцами, будто вытряхивала из них боль, надернула лямки черной кожаной сумки на локоть и, скосившись от тяжести двух буханок, пошла на улицу.

— Приходите ко мне! У меня мясо в печке томится!

Киря удивился Мишкой быстрокрылости: на минуту не задержался дома — раз, раз, от еды отказался — некогда! — сполоснул руки под умывальником, надел белую шелковую сорочку — и к дверям. Степаха навязала с ним бидончик молока:

— Ну-ко, что они у Тишихи-то всухомятку будут питаться? Неси, неси — и не разговаривай.

Мишкя взял молоко.

— Пошли!

Киря чувствовал себя неловко: по Полежаеву уже прошелестел слушок, что девки после их председательского налета собирались в бега. Но Мишка ржал, как жеребец.

— Так мы-то при чем? Они рты пооткрывали, шуток не понимают, а мы виноватые, да?

Времени у них было в обрез: переезжали сибирь на Большую Медведицу.

— Ну, посмеемся хоть немного между работой, — сказал Мишка, а Киря подумал, что после вчерашнего девки с ними и разговаривать не будут.

— Ничего, у меня заделье к ним есть — беззаботно смеялся Мишка и кивал на бидончик.

Но у Киря-то никакого заделья не было. Что он, у Мишки почетный сопровождающий? И все-таки какая-то необъяснимая сила тянула его за Мишкой.

Небо было сизонное. Солнце через рубашку припекало спину. Мишка ухарски расстегнул у безрукавки верхнюю пуговицу, беспечно лыбился.

— На денег бы отгул попросить...

— А два не хочешь?

Мишкя двух не хотел. Поставил на тропу бидончик, достал из кармана расческу, пригладил волосы, продул у расчески зубчики.

— Артист, — подколол его Киря, — из погорелого театра.

Мишкя оскалил зубы.

— Ого! — восхликал он. — Окошко открыто. Приготовились!

У окошка сидела Тишиха.

— Тихоновна, привет! — подходя к окну, крикнул Мишка. — Квартирантки дома?

Из избы послышалось какое-то волнение, будто девки разбегались прятаться по углам. Киря почувствовал, как из вытолкнувшейся на улицу волны на него нанесло запахом духов.

— Ой-ой-ой, — укорила ребят Тишиха. — собачье полежаевское... Явились, и стыд не гнет... Мишка заулыбался во весь рот...

— Тихоновна, я к твоей селедке бутылку кагору принес.

— Я ведь не больная, кагор-то пить. — отпарила Тишиха.

Киря стоял в отдалении как бедный родственник.

— Вот, леший, не сообразил, — притворно хлопнул себя по колену Мишка. — Думал, Тихоновна сладкое любит, а ей русскую горькую подавай.

И в этот самый момент из-за плеча Тишихи на Мишку выплеснулся полнущий ковш воды.

Сорочка Мишки, прилипнув к телу, порозовела.

— Надя! Что вы делаете? — раздражался в избе взволнованный голос.

— Фаина Борисовна! Да надо же расквитаться, — растерянно отозвалась Надежда.

Мишкя стоял, осклабившись, расщепив руки. С него стекала вода.

— Ну, как поживаешь? — довольная, захочотала над ним Тишиха.

— А как графин, — отряхиваясь, сообщил Мишка. — Все норовят за горло взять. — Он напустил на себя строгий вид и вчерашним председательским тоном спросил: — Товарищи студенты, вы, говорят, с наших старух допросы снимаете? — Вода протекала ему под ремень, и Мишка попеременно заподнимал ноги. — Толкаете их на то, чтобы они чернили нашу действительность? — Вода холодила ему в пахах, и он завзбрывал, как жеребец. — К ответственности притянем!

— Отчелись! — засмеялась Надежда и выплеснула на Мишку еще один ковш.

— Вот так, — подытожила Тишиха. — Запрягай дровни да езди по ровне.

Фаина Борисовна что-то выговаривала Надежде. Тишиха отпрянула от окна и заступилась за свою веселую квартирантку.

— Да попустись ты, — сказала она Фаине Борисовне. — На него, на собаку, надо бы целое ведро выплеснуть. Да и под зад напинать.

— Во-во, бей наших, чтобы чужие боялись. — Мишка поставил бидончик на подоконник, который был на уровне его груди, и, вытянувшись на цыпочках, заглянул в избу. — Фаина Борисовна, — позвал он, — вы не думайте, мы не в сиби. Мы же умеем понимать шутки...

Фаина Борисовна все-таки по-прежнему опасалась Мишки, не могла еще, видеть, свыкнуться с мыслью, что он не председатель сельсовета, а Киря не бригадир.

— Нехорошо, взрослые люди — и вдруг их водой, и вдруг какое-то вульгарное «отчелись», — осуждала она свою помощницу.

Надя не очень-то серьезно воспринимала ее укоры. Глаза у нее горели, и по лицу то и дело пробегала гримаса сдергиваемого всеми силами смеха.

— Правильно, девка, — не согласилась с Фаиной Борисовной Тишиха. — Задай им перцу, — и победно притопнула ногой. — Ой, Надя, тебе бы сапоги подковать, да искры бы из земли выскакали!

Киря тоже подошел к окну. Вот уж никак не ожидал он, что так хорошо повернется разговор.

— Здравствуйте, — кивнул Киря всем, кто стоял, сидел и ходил по избе.

— Что? — спросила Тишиха. — И тебя, соколик, завидки грызут?

Киря, краснея, нахмурился. А Мишка, поросенок, захочотал:

— Ой, эмти, Тихоновна, в тихом-то омуте черти водятся, — и толкнул Кирю локтем.

Киря смущился еще больше.

— Ну, что же вы своего бригадира обижаете? — почувствовала Киря Фаину. Она сидела на том самом месте, где вчера хозяинничал Мишка. — И в прошлый раз на него шумели за невыполнение плана. Сегодня он тоже, что ли, какой-то ваш план завалил?

— Да он всегда с недовыполнением идет, — засмеялся Мишка и подмигнул Кире. — Ну, так как там в Москве Беговая, 28, живет?

— Надо же, — удивилась Киря. — И адрес запомнили.

Киря хотел сказать: «Зачем и паспорт смотрели?» — да вовремя спохватился — Мишка не простил бы ему ротозейства.

— Я вот на будущий год поеду в университет поступать, — заявил Мишка. — Так по этому адресочку хочу к кому за консультацией заглянуть. — Он смотрел на Кирю и улыбался.

— Заходите, — пригласила она будничным голосом. — Только я на будущий год опять в экспедицию уеду.

— А мы подождем, — не переставал улыбаться Мишка.

Лариса склонила набок голову: вице, мол, дело.

— А Надя не выдержала.

— Миша! — крикнула она. — Вы ее на тракторе покатайте, она уступчивей будет.

— Замараешь, — не согласился Мишка.

Фаина Борисовна, видимо, уже отчаялась одергивать девчат. Ушла за комод и дедовито начала копаться в своих тетрадях. Тишиха заподмигивала девкам: вице, мол, воля теперь, делайте, что хотите.

— Я в самом деле надумал в университет податься, — засерьезничал Мишка.

Ну, залива-а-ть... Никогда Киря не говорил об учебе, а тут решил цену себе набивать.

— И на какой факультет? — спросила Лариса.

— А на какой примут.

Вот уж никогда не поймешь у человека, где он правду говорит, а где врет. Но Тишиха не на шутку встревожилась:

— Ты что? А кто за тебя работать будет? Все выучитесь, так в Полежаеве некого и на трактор посадить станет.

— А теперь, Тихоновна, звеньевая система будет.—И потому, что Тишиха не поняла его, пояснил:—Один человек по нескольку машин станет обслуживать. Вот я Кире и сдам свой трактор, пускай на двух работает: на своем попашет, на моем поборонит.

— А Киря-то что, пальцем деланный, за тебя работать?

Тут уж даже Мишка смущился. Хорошо, что Фаина Борисовна не слышала Тишихи и как ни в чем не бывало подошла к окну и протянула Мишке два рубля:

— Передайте, пожалуйста, бабушке за молоко.

— Да вы что?—обиделся Мишка.—Мы не берем.

Фаина Борисовна растерялась.

— Тогда мы не можем принимать от вас молоко,—упавшим голосом сказала она.

— Ну уж вы тогда с бабушкой договаривайтесь,—махнул рукой Мишка.—Мое дело десятое. Сказано—унеси, я и понес. Освободите посуду.—тинул он в бидончик так, что молоко в нем заплескалось, и бидончик запокачивался на подоконнике.

— Фаина Борисовна,—засмеялась Надя,—да вы или не видите, он боится, что Лариса умрет с голоду. Берите, и нам кое-что перепадет.

Мишка весело подмигнул ей.

А Тишиха, обеспокоенная Мишкиным заявлением об учебе, твердила свое:

— Ой, нет, Михаил, не уезжай никуда. Мы и так всех деток распустили по городам. С кем жить-то будем?

9

Фаина Борисовна уже по просвещивающей крыше приоровилась определять, какое утро: если дранка золотится—то солнечное, если матово тускнеет—то облачное. Дождливое же заявляет о себе шумом. Крыша на повети в непогоду дрожит и стонет от напора дождя.

На этот раз Фаина Борисовна проснулась от стукотки синицы и сначала испугалась, что начало покрываться, но разглядела на крыше золотистые полосы и успокоилась.

Где-то в углу повети гундосил шмель. На улице с кем-то разговаривала Федосья Тихоновна.

Фаина Борисовна прислушалась к разговору, но ничего не смогла разобрать, и все же в нее закралась тревога. Фаина Борисовна долго не могла уяснить причины все сильнее охватывающего ее беспокойства.

На другом соломеннике спокойно посыпали девочонки, накрывающиеся одеялом до подбородков: к утру на повети становилось свежо, и, если не подогнать под ноги одеяло, снизу, от половиц, наносило промозглой сыростью.

Фаина Борисовна перевернулась на другой бок и снова услышала, что Федосья Тихоновна с кем-то стояла и разговаривала.

— Ой, нынче и грачи развелось,—жаловался Федосья Тихоновна чужой голос.—В комбайнных трубах гнезд навили—не пересчитать... Сколько птенцов выведется, и ведь все на будущий год прилетят, где родились... А через пять лет сколько их будет в Полежаеве...

— Люднее-то лучше,—засмеялась Федосья Тихоновна.—А то обезлюдело Полежаево,—и поклонилась на свое:—Не знаю, где она и несется... Утром щупала—с яичком была, а сейчас уж пустая.

— Это которая? Рябая, что ли?—узнала Фаина Борисовна голос Степахи. Видимо, опять молока принесла. Но не это же обеспокоило Фаину Борисовну: не берет деньги за молоко, можно какой-то подарок ей сделать на ту же сумму.

— Не курица—паразитка,—сказала Федосья Тихоновна, и Фаина Борисовна вздрогнула: только сейчас до нее дошел смысл испуга. Уже сколько раз за сегодняшнее утро она слышала, как и Федосья Тихоновна и Степанида повторили это слово—курица—не так, как оно записано у Фаины Борисовны в блокноте, не так, как разнесено по карточкам девушками. Они же раньше-то говорили: курица. Не могла же Фаина Борисовна ослышаться: Федосья Тихоновна произнесла несколько однотипных слов с ясным «ци» на конце: курица, водица и, кажется, дровца... Да, они ходили с Федосьей Тихоновной за дровами, и хозяйка сказала: «Дровца у меня сухие». Потом отправились «по воде», и Федосья Тихоновна сказала: «Водица у меня близко».

Фаина Борисовна торопливо оделась, вышла во двор. На крыльце стоял Степахин бидончик. Сами старухи сидели под окном на завалинке.

Фаина Борисовна поздоровалась с ними, не в силах удержать в себе недоумение, спросила:

— Федосья Тихоновна, вы же мне говорили «курица»...

— Чего?—не поняла хозяйка.

— Вы же мне «курица» сказали. «водица», «дровца», а сейчас говорите «курица»... Курица или курица все-таки?

— Ой ты, господи,—поняла, наконец, Фаину Борисовну Федосья Тихоновна.—Меня вот хоть горшком называй, только в печь не ставь.

— Федосья Тихоновна, это же для науки нужно.

Федосья Тихоновна пристыженно шмыгнула носом:

— Ну да, мы ведь знаем, что это для науки. Зачем мы будем неладно-то говорить, позорить тебя. Это уж мы между собой как попало бухаем. А для книг надо правильно.

Фаина Борисовна ослабила ногами и чуть не опустилась на дымившуюся подсыхающей росой траву.

— Федосья Тихоновна, что вы наделали!—ужаснулась она.—Мы же теперь в полном неведении, что истинное, а что ложное.

Степаха остановила ее взмахом руки:

— Будет скучу-то распускать? Курица или курица—не все ли равно?

— Не все равно,—чуть не заплакала Фаина Борисовна.—Для науки самое важное—точность.

Степаха пожала плечами.

— Так мы ведь когда скажем так, когда здак,—оправдала она Федосью Тихоновну.—Это раньше все говорили: «курица». А теперь и мы за молодыми тянемся: один-то на один еще когда и чакнём, а так—только правильно говорим. Не то ведь Мишке нашему на язык попадись—и проходу не даст, так и будет, не переставая, дразниться: «Курица, овча, рукачика»...

У Фаины Борисовны, кажется, родилась спасительная идея.

— А что? Михаил поправляет вас?—затаив дыхание спросила она, а сама уже готовила новый, более важный вопрос.

— Ой, подь ты к ляду с таким учителем,—засмеявшись, сморщила и без того сморщенное лицо Степаха.—Этого учителя в детстве мало учили, чтобы над стариками не изголялся.

Но Тишиха заступилась за Мишку:

— Да чего ты, Степанида, на парня несешь? Мы с тобой бестолковые, нас и надо учить...

— Не учить, а в могилу класть.

Но Тишиха замахала на Степаху руками:

— Прикуси язык-то. С сыном живешь, со снохой, внук вон хороший какой, а ты о могиле... Я одна мыкаюсь, да и то молчу.

— А не все равно—одна, не одна? Мы уж—в нашем-то возрасте—все теперь под низом у жизни. Это им теперь высоко летать,—кинула Степаха на Фаину Борисовну.

Разговор уходил явно в сторону, и Фаина Борисовна снова спросила:

— Ну, а Михаил...—Она замялась, сознавая, что вопрос ее странный, и не зная, как выразить его и понятно для старух и деликатно, без обидного оттенка высокомерности.—Ну, а он знает... как раньше данное слово произносилось, как вы его в былье годы употребляли?

Она ушла-таки от определения «неправильное произношение», которое вертелось на языке, и, торжествуя, внутренне похвалила себя за это.

— Мишка-то?—удивилась Степаха.—Да он же здесь вырос! Конечно, знает.—И хитровато подмигнула Фаине Борисовне.—Его-то не проведеешь...

Фаина Борисовна молча проглотила укор. Главное она выяснила: Михаил может откорректировать их записи. Надо будет поговорить с Ларисой, чтобы она попросила Михаила об этом. Фаина Борисовна была притягательна и не сомневалась, что Лариса он не откажет.

10

В избе у Тишихи опустело: девки разбрелись по своим делам, Фаина Борисовна ушла записывать хуторскую Огрешу, Лариса с Надей, кажется, убежали к Степахе. Без них стало в доме совсем тоскливо—вот ведь как к людям-то привыкаешь. Июня никого на постое не было, так хватало и кошки: с ней поговорила, послушала, как мурлыкает, посмотрела, как беснуется у нитки с бумажкой, поульбась—и спать легла. А теперь за неделю скжилась с девками—не знаешь, как и вечера дождаться без них. Как одной-то—уедут—быть?

Тишиха заварила в кипятке зверобой. Почему-то он глянулся ей больше чая. После зверобоя хотелось летать. Но сейчас и зверобой оказался бессильным от придавившей ее тоски.

Затосковала-то Тишиха, пожалуй, не в отсутствие девок, а при них, когда Мишка Некипелов запогоравил об учебе. Ведь если они с Кирей уедут, так Тишихи како. С Петей-то молокозовом не скоро столкнешься о дровах—загуляет, так по неделе не привест в чувство.

Сегодня Тишиха утром видела, что с молоком поехала Нюра, Петъкина жена. Тишиха пересчитала фляги—восемь штук,—только бабе и валандаться с ними. Ой, горчит от вина мужик—шестой день уж не просыпает.

— А лешой с им! Заадался бы до смерти,—вспыхнула Тишиха и опять перевела думы на Мишку: ведь уедет, собака, уедет... У него втемяшится в голову—своего добьется. А в городе-то такого парня с ручками отхватят: на дороге не валяются эдакие ребята. Чего хочешь умеет сделать, из рук не выпадет ничего...

Тишиха уже закидывала уздочку и Степахе, пытала ее:

— У тебя внук-то не ладится уезжать?

— А он и здесь хорошо зарабатывает.

Значит, Степаха не в курсе. Заработками нынче молодяшек не удержать.

Вчера ребята опять приходили к девкам. Тишиха дождалась, когда они начитались девкиных записей, вышла за ними на крыльцо.

— Миш,—спросила она,—не передумал с Москвой-то?—спросила вроде бы бодро, смешком.

И Мишка ей смешком же и отозвался:

— Книжки, Тихоновна, с подволоки за десятый класс притягил, все в пы-ы-ли—еще и сегодня прочихаться не мог...

За книжки зря не берутся. Уедет!

Да и Кирю сманил еще за собой. Вот собака...

11

Фаина Борисовна уезжала с окрыленной душой. Программа была выполнена экспедицией полностью. Девочки оказались у нее молодцы: все записи разнесли по карточкам, не по одному разу проверили их точность у местных ребят.

— Федосья Тихоновна, большое вам спасибо за все,—прощаясь, сказала Фаина Борисовна.

А Тишиха-то вроде собиралась расплакаться—то и дело отворачивалась в сторону, поднимала к глазам угол повязанного на голову платка.

— Письмо-то хотят напишите, когда доедет...

— Обязательно, Федосья Тихоновна, напиши,—пообещала Фаина Борисовна и сама повернула своему обещанию, хотя очень уж не любила эпистолярный жанр и даже на деловые бумаги садилась отвечать через силу.

Федосья Тихоновна стояла у машины, на которой и предстояло ехать в Переселенье,—низынькая, сморщенная, в высоченных валенках с галошами. Валенки у нее, когда она шла, волочились по земле, из травы за ней поднималась пыль.

— Коля, ты их ходи-то не вези,—обратилась Федосья Тихоновна к шоферу.—А то на дороге-то больно я много.

— Не стеклянные, не разбьются,—засмеялся шофер.

Девочки уже сидели в кузове, и, хоть кабина была пустая, Фаина Борисовна полезла к ним.

— Ветерку хочешь?—догадался шофер.—Ну, давай.

У кабин, чтобы девкам было легко сидеть, была взбита вытряхнутая из соломенников осока, уже высохшая, не резчая и, кажется, пахшая потом—все-таки недавно стали на ней.

— Федосья Тихоновна, ты напиши нам,—растягивало попросила Фаина Борисовна.

Тишиха обрадовалась ее словам, закивала:

— Да, да, напишу...

Шофер опять засмеялся:

— На почте ее почерк не разберут.

— Паштэ?—встрепенулась Федосья Тихоновна.—Я письмо-то уж напишу, так и в Крым и в Мурман уходит.

Она намекала на дочерей. Фаина Борисовна все семь дней—собиралась расспросить о них хозяйку, но все забывала.

С пригорка торопливо спускалась Степаха, руками махала, чтобы шофер ее подождал.

— Ой!—Останавливаясь, она еле схватила душу.—Али бы уехали без меня?

Она подала через борт узелок:

— Яичек хоть на дорогу возьмите...

Фаина Борисовна было прижала к груди руки—спасибо, мол, зачем беспокоиться, но Степаха закричала на нее:

— Я те откажусь, я те откажусь! Бери—они вареные, не разбьются...

Шофер спустил машину с тормозов, она покатилась под уклон сначала бесшумно, а потом зафырчала мотором.

Старухи махали руками, Федосья Тихоновна украдкой от Степахи утирала платком глаза.

У Фаины Борисовны вдруг и у самой запершило в горле. Она никогда не замечала за собой такой слабости, чтобы при прощании с кем-то ей хотелось заплакать.

Фаина Борисовна скосила глаза на своих помощниц. Лариса тоже сидела подавленная, ушедшая в себя. Одна Надежда не унывала, вздымала вверх руки, ловила ветер.

В стороне, в лугах, рокотал трактор. Надежда толкнула Ларису и, дурачась, запела:

— Прокати нас, Петруша, на тракторе...

Лариса не среагировала на ее намек, но все же нахмурилась.

Старухи еще было видно. Они по-прежнему стояли у дороги и прощально махали руками.

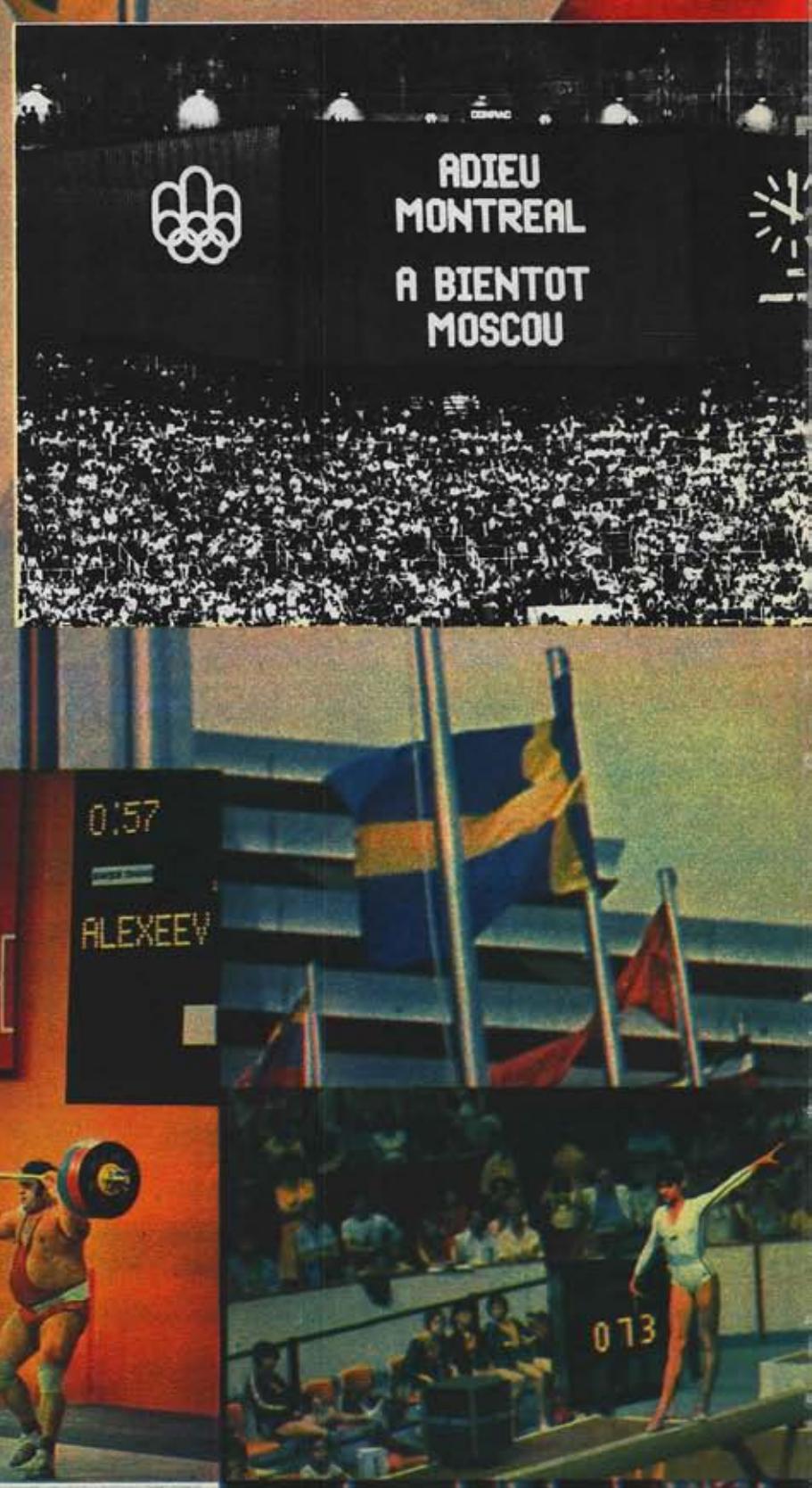
Федосья Тихоновна, чтобы ее было заметней, сняла с головы платок и махала им.

Фаина Борисовна не могла больше смотреть назад. Она встала к кабине. Ветер рванул ее волосы, перехватил дыхание.

Машина влетела на взгорок, и перед ней расступилась другая деревня, уже не Полежаево, а, кажется, Большая Медведица. От амбара, жавшегося к дороге, испутанно шарахнулись куры.

И Фаина Борисовна, заново переживая старое удивление, вспомнила, что глаза у куриц закрываются снизу. Вот ведь: сколько раз ездила в экспедиции—и не знала.

МОНРЕАЛЬ:



Александр КУЛЕШОВ, фото Бориса СВЕТЛЯНОВА

ПЕРЕМЕННАЯ ОБЛАЧНОСТЬ. К КОНЦУ ДНЯ-ЯСНО



акими словами частенько заканчивал чтение последних известий директор монреальского телевидения.

И вспоминая ныне дни, предшествующие Олимпиаде, да, пожалуй, и сам ход ее спортивных поединков, думаю я, что фраза эта, регулярно звучавшая с маленького экрана, весьма точно определяла то, что происходило в июле в столице канадской провинции Квебек.

Монреаль — внешне типично американский город. Я не оговорился, именно американский, как и многие другие канадские города: многоэтажный, «небоскребный» центр, а вокруг разливанное море одноэтажных кварталов. Те же кричащие пестрые рекламы повсюду, те же огромные машины на улицах, те же «собачьи» сосиски на каждом углу.

Вот только речь звучит французская и надписи всюду тоже на этом языке. Монреаль после Парижа второй по населению франкоязычный город в мире.

Впрочем, какая только речь не звучала в дни Олимпиады на улицах Монреяля. Сюда съехались люди со всех концов земли. Скажем прямо, не все они, подобно брату иранского шаха Пехлеви или принцессе Анне, дочери английской королевы, жили в многокомнатных апартаментах роскошных отелей. Иные разбили палатки на подступах к городу или создали целый поселок «трайлеров» — прицепных автодомиков, а то и просто ночевали в парках на скамейках. Еще за несколько дней до конца Игр был торжественно отмечен миллионный зрителю Олимпиады, и зрители эти далеко не все были монреальцами.

Однако многие монреальцы, дождавшиеся, наконец, великого дня, не склонны были воспринимать Олимпиаду лишь как веселый праздник. Олимпиада олимпиадой, она промчится мгновенным пестрым хороводом, а жизнь с ее проблемами, заботами и тревогами останется. И, пожалуй, лучшей иллюстрацией сложности бытия как раз и служит история подготовки и проведения XXI Олимпийских игр.

Когда Монреаль получил право на их проведение, мэр города Жан Драпо сказал, что это будут «скромные Игры, на которых будут царить простота и достоинство в традициях величия человека».

Что должна была значить эта довольно туманная формулировка, тогда еще никто не знал. Но уже вскоре о достоинстве, традициях и величии говорить не пришлось. Началась лихорадка.

Расходы на «простые сооружения» во много раз превысили сметы: планировали 310 миллионов долларов, израсходовали в конечном счете почти 2 миллиарда. Строительство шло в сложных условиях во всех смыслах слова. Дули сильные ветры, зимой стояли жесточайшие морозы, подрядчики грели (да простят мне плохой каламбур) на них руки, шантажировали Оргкомитет. Ошибки строителей привели к трагической гибели 13 рабочих, ко многим несчастным случаям. То и дело возникали забастовки.

Федеральное правительство отказывало в средствах, Международный олимпийский комитет, международные федерации настаивали, чтобы спортивные сооружения и организация Игр отвечали современным требованиям. Наступил кризис.

О каком уж тут «достоинстве» говорить... Пришлось торговаться с фирмами, жаждавшими получить титул «официальный поставщик Игр», и драть с них в тридорога, выпустить «лотерею миллионеров», где главный выигрыш — миллион долларов, запустить в продажу поток марок, монет и т. д.

Мэр однажды удовлетворенно заявил своим согражданам-налогоплательщикам: «Игры не будут стоить городу ни одного цента. Тратить деньги из бюджета города? Для нас это так же невозможно, как мужчине родить ребенка».

Однако очень скоро карикатуристы стали изображать господина Драпо с большим животом: городу пришлось таки раскошелиться. Выяснилось, что Игры — настолько гигантское мероприятие, что организаторы и предвидеть подобного не могли. 25 тысяч служащих, 16 тысяч солдат, тысячи полицейских и агентов, 77 стадионов, залов, бассейнов и других спортивных центров, где развертывались соревнова-

ния, без малого 10 тысяч спортсменов и еще большее число журналистов, которых надо было размещать, кормить, возить, развлекать, охранять, создавать им идеальную обстановку для жизни и выступлений... Потому что за каждым спортсменом стояли многие годы напряженной подготовки к Олимпиаде, за каждым журналистом и комментатором — миллионы читателей и зрителей. И нельзя было никого подвести.

А были еще сотни тысяч туристов, которые хотели не только смотреть Игры, но и покупать сувениры, читать газеты, ходить в рестораны и кафе, развлекаться.

И была еще постоянная давящая угроза трагических происшествий, ежедневные звонки неизвестных лиц в полицию о подложенных бомбах, о притаившихся снайперах, о проникших в Канаду и до поры до времени скрывавшихся террористических группах.

И особая команда «Альфа» мчалась по первому вызову и обнаруживала не бомбу, а консервную банку. Но мчалась. И «Антитеррористические спецгруппы» прочесывали кварталы, никого не обнаруживая, но прописывали, и охрана олимпийской деревни и мест соревнований удваивала, утраивала бдительность, по десять раз в день обыскивая у входов спортсменов, просвечивая рентгеном входящих в отели посетителей, просматривая с вертолетов ценные участки города.

Круглосуточно дежурили в засекреченном «оперативном центре» высокопоставленные офицеры безопасности, полиции, армии. Господин Лакюэ, председатель совета безопасности Монреяля, возглавлявший, по существу, всю службу охраны Игр, пригласил меня однажды осмотреть этот центр. Он напомнил мне центр управления космическими полетами. В огромном зале на возвышении — места для руководителей всех служб со множеством телефонов, передатчиков, микрофонов и всякой другой аппаратуры. В случае ЧП места эти займут министры, генералы, руководители ведомств, а в то время там сидели старшие офицеры.

Перед ними десятки телекранов, на которых с помощью камер, установленных в «стратегических» пунктах, на вертолетах, в специальных патрульных машинах, просматривается практически любое место в деревне или на стадионах.

Впрочем, история охраны Игр заслуживает, пожалуй, отдельного очерка.

Можно было бы привести много других фактов и цифр, иллюстрирующих масштабы Олимпиады, — взять хотя бы столевые в олимпийской деревне, где, как уверял Роже Гарон, ответственный за питание спортсменов, можно разместить два футбольных поля и где круглосуточно почти 10 тысяч человек поглощали без малого полторы тонны продуктов. Обслуживающего персонала в столовых насчитывалось 1400 человек.

Или, скажем, световые табло главного стадиона, каждого высотой в четырехэтажный дом, где 38 тысяч лампочек не только расписывали в деталях весь ход соревнований, но и повторяли, как на кинозране, целые эпизоды развертывавшейся на поле и дорожках борьбы. А что уж говорить об олимпийском телевидении с его миллиардами уже, а не миллионами зрителей, с тысячами работников, с сотнями телекамер, 3500 цветных телевизоров для олимпийцев, тысяча мониторов для журналистов, камеры на стадионах, в машинах, в вертолетах... Космические масштабы не только в переносном, но и в буквальном смысле слова.

Таковы сегодня Олимпийские игры.

Много говорят об их гигантстве. Они действительно теперь огромны, всеобъемлющи, бесконечно сложны...

Но не в увеличении числа спортсменов и видов программы тут дело. Право же, принять, разместить и прокормить 8 тысяч человек или 10 тысяч, даже 15 — не такая уж большая разница. И мало что изменится, если в программу войдут, например, борьба самбо, теннис или две-три новые дистанции в легкой атлетике.

Огромность Игр в другом — в масштабах организации, в требованиях к местам соревнований, оборудованию, инвентарю, к судейской аппаратуре, антидо-

пинговому контролю, к быстроте, точности и всеобъемлемости информации и многому другому.

Кто из нас, журналистов, думал в Мельбурне или Риме, что результат победителя в заплыве будет отличаться от результата пловца, пришедшего вторым, на тысячную долю секунды? Что время бегунов будет определяться электронными машинами с точностью до сотой секунды, а броски метателей — инфракрасными радарными аппаратами? Что подводные телекамеры будут следить за пловцами и прыгунами в воду, а видеомагнитофоны исключат судейские ошибки в борьбе и других видах спорта? Что допинговые пробы будут проводиться с помощью электронного мозга и что хромотографические и спектрографические анализы позволят безошибочно обнаружить мельчайшие частицы более чем ста запрещенных МОКом элементов? Наконец, что сам священный олимпийский огонь совершил за доли секунды космический трансокеанский перелет с помощью спутника?

А что прыгунам с шестом придется падать на поролоновые подушки с шестиметровой высоты, разве можно было предполагать? Или что один человек поднимет штангу более чем в четверть тонны весом? Или что немыслимые, казалось бы, гимнастические комбинации будут проделывать крохотные девушки?

Все изменилось в олимпийском хозяйстве: масштабы, сложность, спортивные достижения...

Ныне провести Олимпиаду могут лишь страны (о том, что их проводили своими силами города, не приходится и говорить), и далеко не любые.

Во время Монреальских игр много говорилось и писалось о том, что игры Московские будут последними, что после них уже ни у кого не хватит сил поднять Олимпиаду. Выдвигалось множество предложений: зшлонировать Игры на протяжении года или даже четырех лет, проводить их в разных городах одновременно или, наоборот, всегда в одном месте — в Греции, возлагая расходы на все страны... Так или иначе, уроки Монреальных игр показательны. Показательны, оговорюсь, для западных стран. Множество проблем, встающих перед их организаторами, в странах социалистических, в наших городах и, в частности, в Москве, просто не существует. Нет частной собственности, есть плановое хозяйство, никто не бастует, потому что не из-за чего бастовать, наоборот, проведение Олимпиады москвичи — от рабочего до министра — рассматривают для себя как дело чести. В нашей стране подлинная демократия, а не «демократия» в кавычках, служащая порой (как это случалось в Монреале) лишь ширмой для националистических, анархистских, хулиганских выступлений, иногда и против гостей Олимпиады, повторяющихся спекулянтами, мелким дельцам да и дельцам покрупнее.

Наконец, Московские игры не омрачат политические грозы, подобные той, которая привела к неучастию в монреальской Олимпиаде без малого 30 стран африканского континента, около тысячи спортсменов, в том числе претендентов на золотые медали. Глубокое уважение к государственным суверенитетам, полное понимание позиций стран и в то же время уважение к Олимпийской хартии позволяют Москве избежать того, что произошло в Монреале. Об этом, между прочим, говорили и представители ряда африканских стран, и президент МОКа лорд Килланин, и многие официальные лица, и журналисты.

...А вот в Монреале была переменная облачность. Едва удалось вовремя закончить строительство спортсооружений (пусть не всех и не до конца) и вздохнуть с облегчением, как на горизонте возникли новые тучи: собирались бастовать работники телевидения и связи, что грозило лишить мир телепередач Олимпийских игр. Договорились со связистами — забастовали медсестры. Срочно пришлось принимать закон о незаконности их забастовки и силой возвращать на работу. Пригрозили забастовкой энергетики. Таксисты, недовольные тем, что Оргкомитет вместо того, чтобы воспользоваться их услугами, создал собственный автопарк с шоферами-солдатами, устроили «черепашью демонстрацию». Это зрелище у меня до сих пор перед глазами: сотни такси, беспрерывно сигналя, запрудили центральные улицы Монреала и, двигаясь со скоростью десять километров в час, застопорили все движение.

Бастовали или грозились бастовать летчики, журналисты, фотокорреспонденты, даже полицейские. Одни требовали увеличения зарплаты, другие — пенсии, третьи — мер, обеспечивающих безопасность полетов, четвертые протестовали против драконовских мер охраны Игр.

Правительство, или муниципалитет, или Оргкомитет Игр спорили, шли на уступки, предлагали компромиссы, грозили, обещали. Конфликты улаживались, тучи уходили, небо светлело, потом возникали новые трудности, новые проблемы. Последняя по счету, но не по значимости: что будет после Игр? Кто расплатится с долгами, куда девать горы сувениров, которые так и остались вопреки ожиданиям нераскуплен-

ными? В какой мере понадобятся и будут ли заполняться хоть наполовину, хоть на десять процентов, а следовательно, оправдают ли себя спортсооружения, построенные к Олимпиаде, или они окажутся ненужными подобно их токийским или мюнхенским предшественникам?

Но об этих проблемах во время Олимпиады старались говорить поменьше.

Переменная облачность была присуща, выражаясь фигурально, не только монреальской погоде и погоде, при которой жили и трепетали во все времена Игры их организаторы. Она существовала и для участников, в том числе для тех, кто рассчитывал на победу. Пожалуй, для них больше, чем для других.

Сказанное относится и к нашей команде.

Мне довелось побывать на двенадцати Олимпиадах (считая и зимние), и я не помню столь острой, а главное, продолжавшейся до последнего дня борьбы почти во всех видах программы.

Каждый вечер с 23.30 до 0.30 передавалась по телевидению сводная программа за день. Комментаторы переносили телезрителей из зала в зал, со стадиона на стадион. Впрочем, Игры демонстрировались целый день по нескольким программам так, словно в мире ничего больше не происходило. В течение дня можно было увидеть на экранах телевизоров, установленных в кафе, ресторанах, коллах и номерах отелей, в пресс-центрах, в служебных помещениях, наконец, просто в витринах магазинов любые соревнования.

Все монреальские газеты посвящали Играм десятки страниц, а каждое утро для участников издавались подробные итоговые бюллетени. Я считаю, что по полноте, быстроте подачи информации Монреальские игры, безусловно, держат первенство.

У всех нас, советских участников, журналистов, специалистов, словом, всех, кто в разном качестве прибыл на Игры, было, естественно, много дел и не было возможности не только побывать на всех соревнованиях, но даже посмотреть их по телевидению. Однако все мы тщательнейшим образом, огорчаясь и радуясь, следили за ходом командной борьбы, и вопросы: «А как там борцы, не знаешь?», «А как пробежала Казанкина, не слышал?», «А на сколько прыгнул Санеев, не передавали?» — мгновенно начинали звучать, как только мы встречались друг с другом, будь то в деревне, пресс-центре, в холле отеля или просто в метро.

Что ж, и для нас горизонты Олимпиады застилались порой облаками, а порой и тучами. Тучи сменялись голубизной, всходило солнце.

У нас плановое хозяйство, и победу на Олимпиаде мы тоже планировали. Оказывается, можно прогнозировать ход олимпийской борьбы не только вообще, а по дням. И наши ученые сделали это довольно точно. Прогноз относительно числа очков и медалей на данный день (причем не только для нас, но и для наших соперников) в основном оправдывался.

Разумеется, бывали сюрпризы, порой горькие, но их компенсировали сюрпризы приятные. Ну кто, например, мог ожидать, что советские борцы, справедливо названные руководителем нашей делегации С. П. Павловым «истинными героями всей Олимпиады», завоюют 18 из 20 возможных медалей, в том числе 12 золотых! А вот наши прославленные боксеры вынуждены были довольствоваться одной серебряной. Самый оптимистичный прогнозист не решился предположить, что и женщины наши и мужчины станут чемпионами по гандболу. И, наоборот, самый мрачный пессимист был убежден, что уж волейболисты-то вернутся с золотыми медалями, а баскетболисты и ватерполисты — хотя бы с серебряными.

Когда подсчитывали возможные золотые награды в легкой атлетике, то обычно начинали так: «Ну, Фаина Мельник — это железно, Виктор Санеев — тоже, вот Валерий Борзов...» И начинали цокать языком. Что ж, Санеев действительно совершил уникальный, пожалуй, олимпийский подвиг: в третий раз стал чемпионом! Не помню другого такого примера в истории послевоенных Олимпиад. Борзов... Борзов сделал что мог. Мы летели с ним в Монреаль в одном самолете и долго беседовали. Он имеет точное и полное представление о современном спорте, о его возможностях и возможностях потерять в нем. И, говоря о своем будущем выступлении, он был трезво и разумно сдержан. Валерий Борзов вернулся с двумя медалями, хотя и не золотыми, а бронзовыми. Соперники ведь не стояли на месте. Борзов не стал хуже, лучше стали они. А вот Фаина Мельник, у которой «железно» должна была быть золотая медаль, не получила никакой. Ну кто ж мог такое предположить...

Так что в сюрпризах тоже была череда: приходилось глотать разные пилюли — и горькие и сладкие. Вторых, к счастью, было больше.

В конечном счете победа наша на этой труднейшей, жестокой по накалу борьбы Олимпиаде оказалась полной, триумфальной. По всем показателям — медалям всех достоинств, очкам — мы убедительно отор-

вались от главных соперников, перекрыв свой мюнхенский рекорд.

Ныне неизмеримо возросла цена олимпийского золота. Так вот, когда шел разговор о выступлении трех главных претендентов на абсолютную победу — СССР, США, ГДР — то все спорщики, комментаторы, прогнозисты, в основном говорили именно о золотых медалях. Как-то даже странно выглядело слегка преображенное отношение к серебру и бронзе. Спору нет, металлы имеют свою ценностную иерархию. Поэтому и получают первый золотую медаль, второй серебряную, а третий бронзовую. Но ведь и бронзовая медаль, да что там медаль, одно очко добывается сегодня на Олимпиаде немыслимо, чудовищно напряженным трудом, трудом, дляящихся годы, долгие годы. Лишь само участие в Олимпийских играх — великая честь для спортсмена, венец спортивной карьеры. Что ж тогда сказать о зачетном месте, тем более о бронзовой медали!

Конечно, кому многое дано, с того многое и спросится. И то, что мы вправе ждать от Василия Алексеева или Николая Андрианова, мы не требуем от Маши Филатовой или... И все же... Все же не след восхищаться лишь золотом. Даже для нас, бесспорных победителей, любая медаль — великая награда, огромный вклад в общую победу.

А между тем в нынешних оценках олимпийских достижений все больше просматривается тенденция считать лишь золото. Не случайно ведь все монреальские газеты, ежедневно печатая сводку набранных медалей, неизменно ставили на первое место страну, имевшую наибольшее количество золотых, независимо от количества других. Например, в итоговой таблице, опубликованной всей канадской, и не только канадской, печатью, Куба стоит выше Румынии, так как ее команда набрала 6 золотых медалей, а румынская — на 2 меньше. Между тем у румын на 5 серебряных и на 11 бронзовых, а всего на 14 медалей больше. У Англии на 8 медалей больше, чем у Швеции, — на 5 серебряных и на 4 бронзовых, но на 1 золотую меньше, и в таблице она стоит после Швеции.

У нас иной, справедливый подсчет, где учтено все: и общее количество медалей, и достоинство каждой, и зачетные места, и сумма неофициальных очков.

Победа социалистических стран в Монреале была убедительной. Большинство из них на вершине таблицы, а Германская Демократическая Республика просто совершила подвиг, обогнав США. Это лишний раз свидетельствует о том, что спорт, как зеркало, отражает социальный и политический строй. Большой спорт, куда ни кинь, — производное от спорта массового, от физической культуры, в свою очередь, отражающих общую культуру страны, отношение государства к здоровому народу, к его материальному и физическому благополучию, свидетельствующих о заботе и внимании к этим вопросам. Победы ГДР над США, Польши и Румынией над Японией, Болгарии и Венгрии над Канадой и Англией, Чехословакии и Кубы над Францией и Австралией говорят сами за себя.

И пусть помолчат иные западные «критики», толкующие о якобы особых условиях, которые созданы в социалистических странах для спортсменов. «Особые условия» для спортсмена высшего класса, для олимпийцев, создаются во всех странах. Разница в том, что у нас такие условия существуют для всех, кто вообще занимается спортом. Огромные деньги тратятся на спортсодержания и инвентарь, на спортивные учебные заведения, тренеры, спортивные центры, проведение соревнований и т. д. Но тратятся государством, ведомством, профсоюзом, а не лично спортсменом, не меценатом, не коммерческим клубом. Поэтому у нас спортом занимаются миллионы, и из них и выходят олимпийские чемпионы.

Итак, Игры закончились. Закончились полной победой советских спортсменов.

Теперь впереди Москва. Многие из тех, кто выступил в Монреале, очень молоды — снижение среднего возраста олимпийцев вообще характерное явление последнего времени, — они будут выступать и на XXII Олимпиаде.

Наверное, никому в голову не приходит мысль, что советские спортсмены, столь триумфально шествующие, начиная с первого своего выступления в 1952 году, по олимпийскому пути, могут не выиграть Олимпиаду у себя дома.

Я тоже не сомневаюсь в нашей будущей победе. Однако работа предстоит огромная и уроки Монреяля, как горькие, так и отрадные, будут долго анализироваться, изучаться, чтобы не повторить удачу.

В 1980 году нам предстоит держать двойной экзамен — как участникам и как организаторам. Экзамен труднейший. И как было бы хорошо, если бы, заканчивая в те дни программу «Время», теледиктор сказал: «Москва — с утра до вечера солнечно».

Имея в виду олимпийскую погоду.
А на дворе пусть идет дождь, ничего, не размокнем...

Современник

Олег Шестинский



Иллюстрация

Хлеб наш насыщенный

С Олегом Шестинским я познакомился три года назад во время поездки по Уралу. Стояла середина лета, самый пик, когда солнце должно было бы жарить невыносимо, небо было плотно застелено облаками, моросил дождь. Под давлением этой осенней в середине лета слякоти все в нашей группе враз покучнили, притихли.

И вдруг однажды вечером — это происходило на берегу озера с таежным именем Сугамак — Олег Шестинский, стоя у самой воды, начал читать стихи, одно за другим. Тут были и его собственные стихотворения и стихи его товарищей по группе — Людмилы Татьяничевой, Раисы Ахматовой, Павла Железнова, стихи местного старожила, ныне покойного Бориса Ручевого. Это был необычный поэтический вечер.

И хотя я хорошо знал поэзию Олега Шестинского и раньше, я тогда как-то по-новому начал воспринимать все, что он пишет.

Недавно у Олега Шестинского вышла новая книжка, заглавие которой звучит как призыв: «Будь Садовником Земли» («Современник», 1975). Садовничать, в понимании поэта, — значит очищать землю от накипи, от наносного и чуждого, сеять зерна нового, разумного, чистого. В центре сборника — четыре поэмы: «Хлеб наш насыщенный», «Будь Садовником Земли» (поэма, которая дала название книге), «Реквием бессмертному классу» (переводы стихов Евгима Евтимова, болгарского поэта) и «Баллада о матери».

Поэма «Хлеб наш насыщенный» посвящена Василию Тимофеевичу Христенко, жителю Алтая, первому секретарю Шилуновского райкома партии, Герою Социалистического Труда, человеку, лелеющему землю, чтобы рос на ней большой хлеб.

Посидим, Василий Тимофеич, непривычно тихо за окном, отошли дожди и суховей, прямо пахнет убранным зерном.

Говорят: «Не хлебом, мол, единим...»

Кто так говорит, наверно, слеп... Я читаю по твоим морщинам повесть о твоей борьбе

за хлеб.

В том, как зерна наливались в гуще молодых колосьев добела, заключался интерес твой сушил, а точнее, жизня твоя была

В ином ключе написана поэма «Будь Садовником Земли», она повествовательна, нетороплива по своему психологическому состоянию, в ней много размышлений, философских обобщений. Это поэма-раздумье. «Реквием бессмертному классу» принадлежит перу болгарина Евгима Евтимова и рассказывает о ребятах-школьниках, сражавшихся с фашизмом в годы войны. Эта вещь очень близка Олегу Шестинскому, который пережил все тяготы блокадного Ленинграда.

Читаю я эту книгу и вспоминаю нашу поездку, Олега Шестинского, читающего стихи. И звучит в ушах его голос, полный добра и любви к людям...

Валерий ПОВОЛЯЕВ

ПРОЗА



Открыть самого себя...

Уверен, что книга Владислава Бахревского «Земляника», вышедшая в издательстве «Детская литература» в 1975 году, адресованная детям, подарит и взрослым, давно оставившим Страну Детства, немало светлых мгновений. На страницах ее переплелись быль и небыль, реальность и мечта — целый, безграничный, удивительный мир, где «живут» в старой липе домовые и бродят по дорогам невесты откуда взявшись белые слоники, — и мир этого дорог тебе, словно взят из твоей собственной ребяческой фантазии...

...Самое большое богатство человека — сам человек, — говорит в предисловии автор. — Богатства легко в руки не даются, даже в сказках, и человеку тоже нужно добывать самого себя. Клад близко, много путей ведут к нему, но иногда за них приходится уезжать и уходить на край земли...

Необычно и построение книги. В ней шесть разделов, включая стихи и небольшие, подчеркнуто аллегорические сказки. Ключ к каждому разделу — поэтическое вступление.

Лишь в детстве время есть
Послушать песни
трав,
Вглядеться в мир
Кипящий под ногами...

Невольно ловишь себя на чувстве доброй зависти к автору, умеющему не только показать неповторимую красоту реки, леса, описать повадки их обитателей, но и увидеть уснувший в осоке ветер, понять язык дерева, услышать — как слышал Пришин, — что под снегом мышь грызет корешок...

Особо хочется упомянуть о рассказе «Земляника», давшем название всему сборнику. Он совсем не о чудо-ягоде, как можно было бы подумать. Он о Каляне, бесстрашном и добром мальчишке, который, несмотря

на несправедливость судьбы, наперекор ей будет счастлив.

Кстати, новую книгу В. Бахревского населяет веселое малчишечье племя. Вот на берегу реки лежит безымянный юный фантазер и неотрывно смотрит на воду: он уверен, что в том самом месте, где кружит водяная луна, на дне лежит старая-престарая щука — это разглядеть бы, а? Вот десятилетний Сережка, повелитель всемогущего Великого, друга всех, кто сегодня в беде на нашей земле. А рядом с ними — необыкновенный дальтоник Юра Зубков, что видит весь мир красивым, Ванюша-музыкант, которому помогли побороть трудноизлечимый недуг его верные друзья — кони...

Характерно одно авторское примечание: «С точки зрения медицины рассказ фантастический. Автор ручается за правду чувств!»

Думается, в том сможет поручиться каждый, кто прочтет эту умную, очень нужную книжку. О чем бы ни шла в ней речь — о березах или грачах, листопаде или степном небе, перекати-поле или лазурите, — автор заставляет звучать самые сокровенные струны нашего сердца.

Иван МЕЛЬНИКОВ



О самом главном

Трудно говорить с детьми о серьезных вещах. О жизни, например. Вдвое, вдесятеро труднее это сделать на бумаге. Читайши иную книгу и прямо физически чувствуешь, как автор наряжает голос, «дает петуха», тужится — тут тебе и сюжет нараспашку; и тайны, перелицованные из ненадежной ткани занимствований, ссыплются на оглушенного читателя чуть ли не в каждой главе; и шаги сверкают, и натужный хохот героев покрывает все и вся... А закроешь переплет, и становится ясно — это же был только фантазия. Блестящий, правда, красивый и все такое прочее, но фантазия.

Но есть другие книги. Они говорят негромким голосом, с уважением к маленькому читателю-слушателю. Говорят по-взаправданному, приглашая подумать вместе. Конечно, и поиграть, и посмеяться, но все-таки главное — попробовать подумать, остановиться, оглядеться...

Вот такую — добрую и умную — книгу написал один из крупнейших современных монгольских писателей Лодонгийн Тудэв (Л. Тудэв. «Открывая мир...». Новеллы. Москва. «Детская литература», 1974 г.). Это книга о вечной и неисчерпаемой теме — об открытии маленьким человеком мира. Книга об истории, которая началась в один из августовских вечеров в год Белой свиньи шестнадцатого шестидесятилетнего цикла (по-нашему, в 1936 году), когда мускусная половина населения планеты пополнилась одним монгольским мальчиком.

Он, как и любой малыш, само забвенно играет, рисует, учится получать затрешины, дает сдаваться, попадает в самые разные переделки, — и все время растет

Очень мягко, тактично ведет нас писатель по этому пути. Конечно, многое непривычно для нашего читателя — первые буквы маленький герой выводит заостренной щепочкой на ровном слое золы; он переживает целую серию забавных происшествий, когда охотится на жителей пустыни — табарганов; в трудные военные годы учится писать на сколотых в длинные свитки, отрезанных от газеты длинных белых полях... Однако все это воспринимается легко, потому что и монгольский, и русский, и венгерский, и австралийский ребенок идет к взрослости по одному и тем же, в сущности, ступенькам...

... Будешь шалить, — говорят герою новелл Л. Тудэва, — придется горная ведьма и заберет тебя.

Странно? Еще бы! Ведь она живет среди скал, у нее толстые-претолстые ноги, черные руки и маленькие красные глаза... Но что значит страх перед стремлением все увидеть своими глазами, попробовать свои силы в единоборстве пусть даже с этим чудовищем! И мальчик незаметно пришивши халат гостя к коврику, на котором тот сидит; прокалывает бурдюк с кумысом у бабушки... ведь нужно набедокурить так, чтобы явилась наконец эта пресловутая черная ведьма!

Или вот — мелодрама, первоклассники, чтобы помочь русским братьям победить проклятого Гитлера, решают идти на войну против еще более страшного, чем горная ведьма, чудовища — против войны, которая лишила их карандашей и тетрадок, которая выхолодаила их чернила и выхолодила школу... Они заготовливают всем классом шестьдесят с лишним рогаток и идут отправляться в бой к своему учителю. Тот хочет до слез («война, ребята, такое чудовище, которое рогатками не возьмешь»), а затем говорит: «Но если даже такие малолетки, как вы, против войны вооружились, то уж ей и впрямь некуда деться, конец ей скоро придется...»

Знакомство с миром тянулось довольно долго, — пишет Л. Тудэв в своеобразном эпилоге книги. — Продолжается и сейчас. «Я рассказал вам коротко только о самом интересном, что случилось со мной в то время. И если юный читатель, прочитав ее, с новым интересом оглянется вокруг, я буду считать, что мой труд не пропал даром».

Какая трудная и какая благородная задача!

Владислав ХОРХОРДИН

ПУБЛИСТИКА

СЕРГЕЙ ГОЛЯКОВ
ВЛАДИМИР ПОНИЗОВСКИЙ

ГОЛОС РАМЗАЯ

Опасная и страшная работа...

В недавнем номере «Смены» была опубликована беседа с Павлом Минаржиком. С чехословакским разведчиком, семь лет работавшим на радиостанции «Свободная Европа». Отве-

чая на один из вопросов, Минаржик сказал, что он стремился походить на таких людей, как Зорге.

И вот новая книга. «Голос Рамзая» (издательство «Московский рабочий»). Книга о Рихарде Зорге. Книга о жизни и подвиге коммуниста, ученого, публициста. Книга о жизни и подвиге разведчика.

Не детектив, хотя есть здесь, разумеется, и шифры, и тайные встречи с агентами-связниками, и донесения, спрятанные в деревянную фигуру Будды.

Не детектив, хотя сюжет книги определяется во многом схваткой над пропастью, схваткой, которую вели против небольшой разведывательной группы токко — специальная высшая полиция министерства внутренних дел Японии и кемпэйтай — военная осведомительная служба. Токко и кемпэйтai, объединившие свои усилия.

Нет, не детектив. Авторы книги Сергей Голяков и Владимир Понизовский не много уделяют места иллюстраций.

В центре повествования образ Рихарда Зорге. Убежденного патриота, бесстрашного солдата, отдавшего жизнь борьбе против фашизма.

Едва ли кто не слышал об этом мужественном человеке. О нем написаны книги, миллионы людей видели фильм «Кто вы, доктор Зорге?». Но «Голос Рамзая» читашь с неослабевающим вниманием, не отрываясь, взахлеб. Потому что узнаешь много нового, потому что ближе знакомишься с Рихардом Зорге, с его размышлениями о задачах, возложенных на советского разведчика, лучше понимашь, в чём состояла работа Рамзая.

То были будни, где нет места ни праздникам, ни выходным дням. То было время, когда солдат неделями, месяцами, годами не покидал передовую.

Работа разведчика многогранна и необычна, сопряжена с постоянной опасностью, и самая большая, по моим представлениям, удача авторов и заключается в том, что им удалось показать рабочие будни Рамзая с помощью его собственных размышлений, опираясь на рассказы соратников Зорге, на документы, связанные с их работой.

Зорге говорил: «Я и моя группа прибыли в Японию вовсе не как враги Японии. К нам никак не относится тот смысл, который вкладывается в обычное понятие «шпион...». Центр инструктировал нас в том смысле, что мы своей деятельностью должны отвести возможность войны между Японией и СССР».

Москва знала: Япония не нападет на Советский Союз, — и из Сибири, с Дальнего Востока шли на запад эшелоны солдатами, танками, артиллерией.

Бесконечные встречи с самыми разными людьми, дружба с послом фашистской Германии в Токио, тщательное штудирование местных газет (разведчик должен уметь читать и между строк), сотни корреспонденций, отправленных в Берлин и Франкфурт, — и тысячи радиограмм, принятых Центром. Только в сороковом году было передано двадцать девять тысяч пятизначных цифровых групп.

Несколько лет назад я прочитал сборник стихов Владимира Жукова «Эхо». Было там и короткое, но чрезвычайно выразительное стихотворение «Пулеметчик», которое запомнилось мне, видимо, навсегда: «С железными рукотяями пулемета он не снимал ладоней в дни войны... Опасная и страшная работа. Не вздумайте взглянуть со стороны...»

Опасная и страшная... Это и о труде разведчика. Немыслимо трудная, нечеловечески трудная работа.

Олег СПАССКИЙ

Юрий РОСТ
Фото автора

“Аргус” уходит под воду



Н

адо все восстановить в памяти, потому что события произошли слишком быстро.

На оранжевой надувной лодке мы подошли к вынырнувшему из-под воды «Аргусу», и руководитель погружения Александр Подражанский открыл люк:

— Витя! Может, возьмете четвертого корреспондента?

После быстрых переговоров я, не очень ловко ступив на крахмальную — в одну ступню — палубу, передал вниз фотоаппарат и спустился сам.

Теперь, прежде чем начать описание моего короткого подводного путешествия, ознакомимся с действующими лицами и местом действия.

Чем знаменит Геленджик? Геленджик знаменит своими курортами. Люди в Геленджике степенно гуляют по набережной. Купаются в море. Словом, в основном отдыхают.

Исключение составляет Голубая бухта, куда приезжают, чтобы с рас-

светом приступить к активной работе, а в темноте ее закончить. В Голубой бухте расположено южное отделение Института океанологии АН СССР имени Ширшова. Здесь занимаются подводными работами, отрабатывают на выки вождения подводных глубинных аппаратов. Словом, здесь вотчина отдела техники подводных исследований. И, наконец, здесь «Аргус» учится плавать. Вернее, сегодня его впервые учат плавать. Учат те, кто проектировал и строил.

Я попал в Голубую бухту, когда весь коллектив опытного конструкторского бюро института был занят работой, которую научной можно назвать с натяжкой. При помощи лебедок, ломов и домкратов «Аргус» устанавливали на спусковую тележку. Все были вымазаны в масле, злы и деловиты.

Степенное других держался небольшого роста человек по имени Иван Босак. Он давал советы и неожиданно оказывался в самом необходимом месте. То здесь, то там Бос-

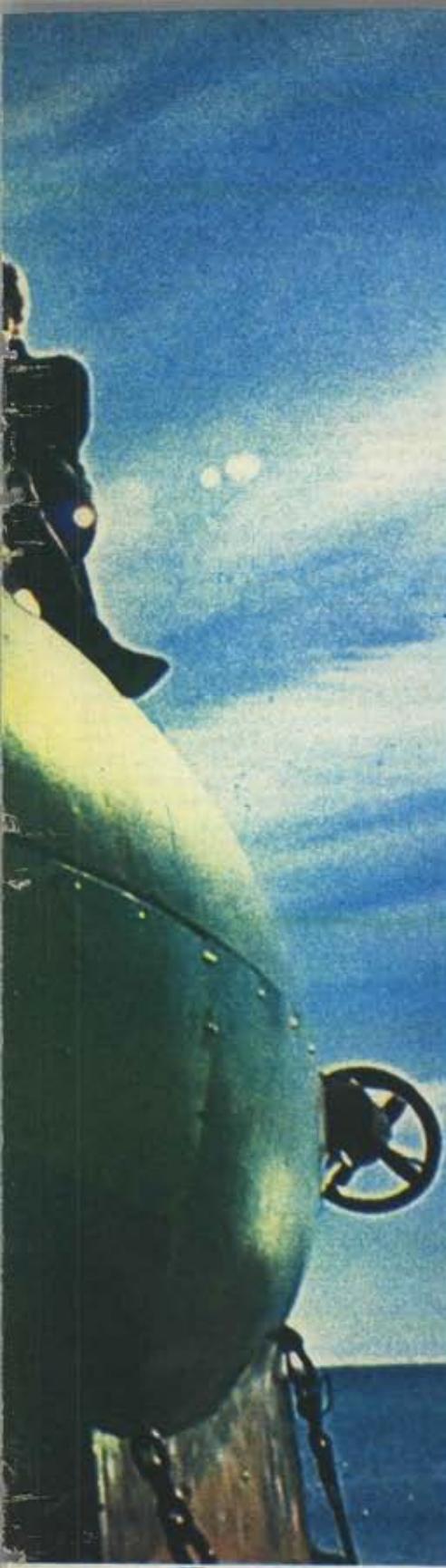
ак успевал сделать своими золотыми руками много полезного. Но начальником он не был. Он был автором стеклопластикового корпуса «Аргуса», его приятных глазу желтых круглых боков, лихой рубочки, делавшей аппарат похожим то ли на субмарину из жюль-верновских романов, то ли на дирижабль, который решил поплавать под водой.

Виктор Бровко двигался энергично, говорил решительно, легко и заразительно смеялся над шутками Подражанского, а когда кто-нибудь ошибался, становился рядом и исправлял. Он работал не эффективно, но эффективно. О том, что именно он руководитель ОКБ, мне сказали позже. Я узнал, что Бровко — один из представителей «новой волны» отечественных исследователей океана, людей, начавших его «заселение», что он вместе со своим другом старшим инженером Александром Подражанским принимал участие в экспериментах, связанных с подводными домами, что они одними из первых осва-

ивали глубинные подводные аппараты и первыми в стране получили международные сертификаты на право пилотирования автономных ПА.

А главным конструктором аппарата был Николай Гребцов. Он сидел на корточках, сложив руки между колен, и смотрел на покоящуюся на спусковой «телеге» подводную машину. Дело было сделано, и вся группа — инженеры и техники Женя Павлюченко, Володя Фокин, Светлана Кузнецова, Саша Уточкин, Оля Устинова, Толя Сидоров, Миша Суров — посидев минутку, разошлась по своим сусекам готовить машину и аппаратуру к первому спуску.

Бровко, Гребцов и Подражанский пошли в домик-лабораторию. Они решили накануне погружения «програть» все варианты, предусмотреть все непредвиденные «а что, если?...». Двое задавали вопросы — главный конструктор отвечал. Иногда он задумывался, и тогда все разворачивали большую «синьку» и долго ее исследовали. Море не прощает ошибок.



допущенных в проектировании и строительстве надводных судов, хотя они много проще и безопасней и есть возможность в случае аварии пересесть в шлюпку, вертолет, на другой корабль. Конструктивные же изъяны глубинного подводного аппарата чреваты гибелью экипажа. На помощь ПА может прийти только другой ПА, и то если он рядом, уж слишком велика глубина погружения аппаратов.

Ночью в маленьком деревянном домике, где мы спим с Бровко, я задаю ему свои бесчисленные вопросы.

— Зачем вы возитесь с «Аргусом», ведь есть же другие аппараты, работающие, как и он, на 600 метрах? Разве нельзя их приспособить, унифицировать, чтобы потом тратить время и деньги на решение других научных проблем?

Бровко засмеялся.

— Раз эта мысль пришла тебе в голову в первый же день знакомства с аппаратом, можно допустить, что она уже кому-нибудь из нас приходила. Существует особая «идеология» ПА, она определяет его будущие функции. А эти функции определяют круг задач, которые должны решить конструкторы, создавая аппараты. И еще один момент. Любой универсализм ведет к снижению надежности. А надежность в нашем деле все. Ни одного исследования ты не проведешь, если аппарат сначала не погрузится, а потом не всплынет. Ясно?

— Особенно последняя мысль. А какова «идеология» «Аргуса»?

— В основном придонные исследования на глубинах до 600 метров. «Аргус» — единственный в стране аппарат, который может работать на морском дне и дне океана. Ползая на своих лыжах, он сможет исследовать придонную фауну и флору, брать образцы грунта, заниматься геологическими съемками. Его, кстати, можно использовать для изучения степени разрушения подводных гидротехнических сооружений. Словом, на дне у него много работы.

Но «Аргус» может работать и в толще воды. Он оснащен различной научной и навигационной аппаратурой, которая пока не применялась на аналогичных судах. Например, автопилот. У него забортное телевидение, прожекторы, иллюминаторы. Короче, это хороший рабочий аппарат. Завтра, может, проверим его...

Мы проснулись от яркого солнечного света. На пороге домика в картины поэзии стоял Саша Подражанский.

— Нырять подано! — крикнул он. — Гребцов со всей компанией уже на берегу.

Возле «Аргуса» суетились «кабешники». Проверяли электромоторы, заливали масло, подвешивали балласт.

На берегу в позах русалок с рыночными картинами лежали аквалангисты Олег Куприков, Толя Юрчик и Миша Целлер. Ждали спуска. Они будут сопровождать «Аргус» в его первом плавании.

Наконец все готово к спуску. Первый экипаж — Бровко, Павлюченко и Сидоров — занимает место в аппарате. Мы видим их в иллюминаторе.

От берега отошла оранжевая лодка с руководителем погружения.

По команде Гребцова заработало спусковое устройство. «Телега» медленно уходит под воду, неся на себе «Аргус». Водолазы надевают акваланги и идут в море. Снимают крепления, и вот уже «Аргус» свободно плавает на поверхности воды.

— Правым вперед! Двумя вперед! — командует Подражанский.

Аппарат легко и послушно уходит от берега.

— А машинка-то ничего, — слышу по радио голос Бровко. На середине бухты «Аргус» просит разрешения погрузиться. И уходит под воду. Только контрольный буй бегает по поверхности моря да слышен по радио голос Виктора Бровко.

— Мы на грунте!

— Порядок, можете всплыть...

Три часа «Аргус» нырял и вспывал, проверяя системы, и, наконец, Бровко решил сменить одного члена экипажа. О том, как произошла смена, вы знаете.

Осваивался я не особенно долго. Ничего дискомфортного в корабле не было. Напротив — он оказался уютным, а оттого, что входящие сюда оставляли обувь на поверхности, создавалось впечатление обыденности, домашней обстановки. Хотя, впрочем, команды, которые Бровко отдавал второму пилоту, Толе Сидорову, гул моторов, щелчки тумблеров, шипение выходящего из цистерн воздуха, покачивание корпуса, металлический голос сверху говорили о том, что мы все же не в клубе кинопутешествий.

Первое, что удивило — крохотные размеры кабин и несоответствие внешней формы «Аргуса». Снаружи он дирижабль, изнутри — шар. (Сфера — идеальная форма для глубинных подводных аппаратов.) Жесткий корпус, внутри которого мы находились, имел диаметр всего два метра. И почти все его пространство было заполнено регенерирующими воздух устройствами, системами управления, жужжащими, попискивающими, мигающими приборами.

Никаких надувных лодок, жилетов, спасательных кругов и прочих «парашютов», естественно, нет. Ни к чему...

Температура —23, влажность 70 процентов. Словом, жить и работать можно. Удобно даже. А работать подводным аппаратом придется много.

Океан, пожалуй, единственный неиспользованный резерв человека. Океан богат, но взять эти богатства не просто. Сначала человек надел водолазный костюм и пришел на малые глубины, потом изобрел специальные дыхательные смеси и забрался поглубже. Ему стал доступен континентальный шельф. Но шельф занимает меньше десяти процентов дна океана. Остальную площадь по силам освоить только глубоководным аппаратом, автономным, телеуправляемым...

Уже сегодня ПА стали неотъемлемым атрибутом работы в океане. Они используются при аварийно-спасательных, строительных работах, для прокладки кабелей, разведки рыбы и полезных ископаемых, для наблюдения за орудиями лова, киносъемок... Научные специальности ПА перечислять можно долго: самые распространенные пока — геология, акустика, биология, археология.

— Берег, разрешите погружение.

— Погружение разрешаю. Под вами чисто. Водолазов нет.

«Аргус» качнулся и под аккомпанемент выходящего из балластных цистер воздуха мягко пошел вниз.

— Толя! Давай третий режим вперед.

Сидоров включил оба мотора, и мы понеслись под водой. Собственно, двигались мы со скоростью примерно 5 узлов. Но для машин подобного типа и этого достаточно. Большая скорость «Аргусу» просто не нужна. Он исследователь...

А мне все время казалось, что мы летим. Вокруг — небо очень плотной синевы и рыбы вместо птиц. Над нами дышало море, под нами белело дно с длинными бурами, раззвевающимися, словно на ветру, водорослями.

— Будешь считать метры до дна, — сказал мне Бровко.

Я кивнул.

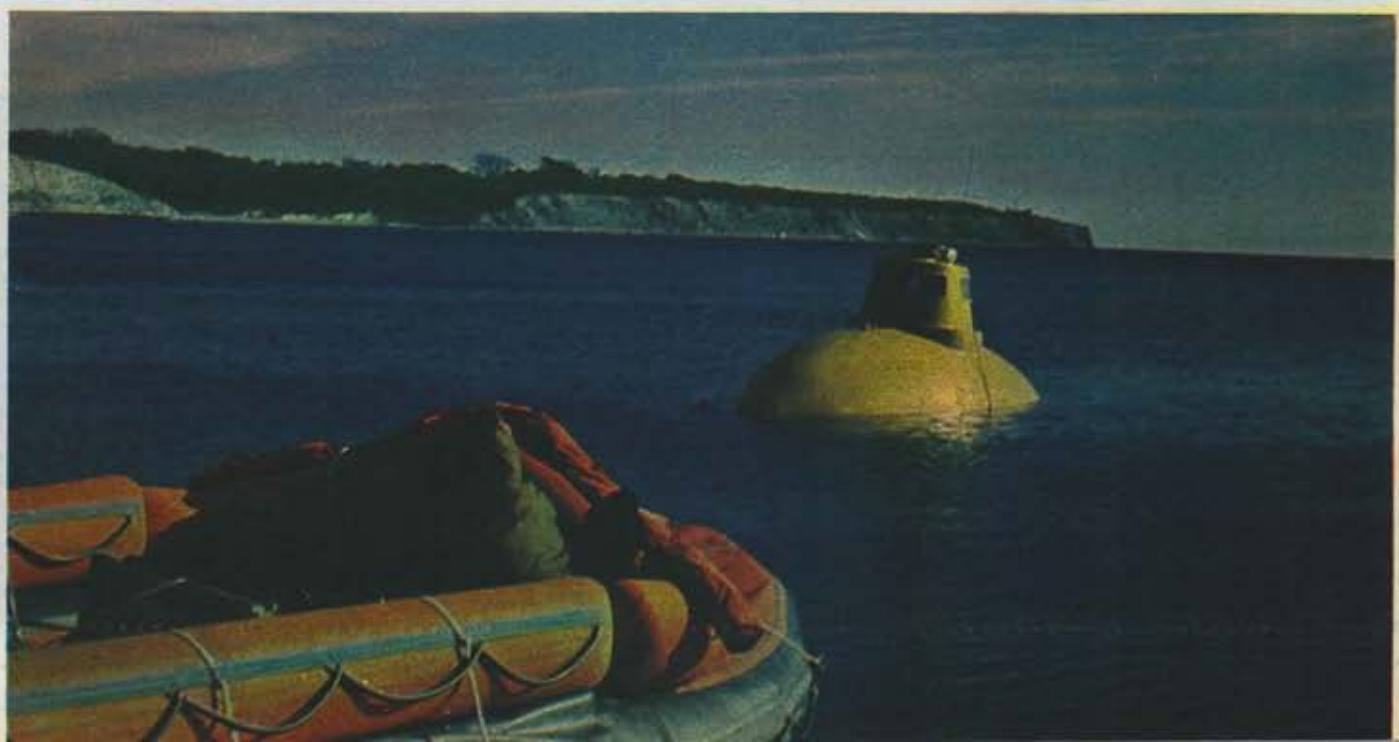
Дно приближалось быстро. Три, два, метр. Легкий толчок! Грунт!

— Мы на грунте!

— Слыши вас. Вы на грунте. Молодцы!

Потом «Аргус» скользил по дну на своих лыжах (в которые, кстати, конструкции, экономя место, упаковали аккумуляторы), прыгал через валуны, крутился, пытался, вспывал, снова погружался. Повинуясь волне испытателей, он резвился под водой, как необыкновенно большой и толстый дельфин. Бровко и Сидоров снова и снова задавали разные режимы двигателям, выясняли, насколько полно удалось воплотить в металле замыслы конструкторов.

И «Аргус» хвастливо демонстрировал свои способности людям, которых и без того знали его возможности.



СТРАНА-ГАРНИЗОН. КУЛЬТ НАСИЛИЯ И ЖЕСТОКОСТИ



ИЗРАИЛЬСКАЯ ПОЛИЦИЯ НА УЛИЦАХ ИЕРУСАЛИМА. ИЩУТ «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ЛИЦ». ОБЫСКИВАЮТ ПРОХОЖИХ. ОККУПАНТЫ В ЗАХВАЧЕННОМ ГОРОДЕ...



Лев АЛЕКСАНДРОВ

К

апралы сбили рекрута с ног и стали топтать его тяжелыми, кованными башмаками.

— Тут тебе не детский сад! — басил бородатый Микки из Хайфы, стараясь ударить рекрута в живот.

— Мы из тебя всю дурь выбьем! — злорадно добавил Иехошуа из Беэр-Шевы. — Армии Израиля нужны закаленные парни, солдаты!

— Фашисты! — хрюпел рекрут, теряя сознание.

...С переломами рук и ног и тяжелыми повреждениями внутренних органов 19-летний рекрут Борис Коган, недавно прибывший в Израиль переселенец, поступил в госпиталь Блинсон на излечение.

Благодаря содействию одной из медсестер госпиталя, которая из благородной осторожностиложила оставаться неизвестной, Когану удалось передать родным записку.

Обычный метод посылки почтой исключался: вся корреспонденция в Израиле проходит цензуру управления общественной информации при бюро военной разведки АМАН. Однако записка была прочитана отцом Когана, когда Борис уже скончался от полученных побоев...

Командование израильской армии сумело замять это преступление, которое так не вяжется с утверждениями глянцевитых армейских рекламных проспектов, будто Силы обороны Израиля — это армия народа, армия всех граждан страны. И только на страницах израильской газеты «Джерузалем пост» 21 июля 1975 года появилась небольшая заметка, сообщающая, что в «цахал» — так сокращенно именуется израильская армия — имеют место случаи «дурного обращения» с рекрутами...

Это было, очевидно, первое официальное сообщение (ибо «Джерузалем пост» не без оснований считают рупором правительства Израиля) о поло-

жении в «цахал», выходящее за рамки обычных словесений относительно «исключительного демократизма», «высоких моральных устоев» и тому подобных хвалебных эпитетов в адрес военщины сионизма.

В Израиле культивируется миф об особо высоких боевых качествах израильской армии. Этот миф усиленно раздувается просионистски настроенным трубадурами тель-авивских агрессоров на Западе. Доброхоты сионизма утверждают, будто «цахал» свойственны особая монолитность и исключительный боевой дух. Французская газета «Орор» (собственность миллиардера Буссака, который связан с сионистами), например, поместила статью некоего Гольдштейна, побивающую многие рекорды низкопоклонства перед экспансионистами Тель-Авива. Без тени сомнения Гольдштейн утверждает, будто по своей боевой мощи «цахал» может считаться в первой десятке лучших армий мира!

Однако на деле подобные утверждения далеки от действительности. Они представляют собой лишь составную часть изощренной психологической войны, которую ведут международный сионизм и израильские экспансионисты. Цель этой войны — запугать арабские народы, парализовать их волю к борьбе за ликвидацию последствий израильской агрессии.

Израиль — классовое капиталистическое государство, официальной идеологией которого является сионизм — националистическая расистская система взглядов, во многом схожая с идеологией фашизма. Израиль представляет собой ударную силу мировой реакции на Арабском Востоке, направленную против национально-освободительного движения народов этого района, на захват месторождений нефти в арабских странах, на установление неоколониалистского господства в странах Азии и Африки.

Израильское правительство соответствующим образом организует подготовку исполнителей этих предначертаний — рядового и командного состава «цахал». А точнее говоря, всего способного носить оружие населения страны. Ибо усилиями сионистского правительства Тель-Авива Израиль превращен сейчас в сплошной военный лагерь.

...Мэрион Террис, молодая домохозяйка из города Реховот, пришла на обследование в местную больницу. И в ужасе зажала уши: из операционной неслышали дикие вопли.

— Оказывается, врачи действовали без анестезии! — пишет Мэрион Террис на страницах израильской газеты «Давар». — Я не представляла себе, что такое может быть в XX веке!

— Да, приходится оперировать без наркоза! — раздраженно ответил через газету шеф клиники профессор Дьюи-Коэн. — Нет средств на анестезиолога!

Не правда ли, это сообщение кажется невероятным! Но так оно и есть на самом деле в Израиле, государстве, которое сионистская пропаганда называет землей обетованной...

Операции без анестезии, по живому телу... Но та же «Давар» в своем воскресном приложении с большим пафосом повествует о широких маневрах израильских войск на оккупированной арабской территории, похваляясь, что артиллерийский парк армии за прошедшие два года увеличился на 80 процентов...

Да, на вооружение в Израиле денег не жалеют: 49 процентов государственного бюджета, 3 миллиарда 700 миллионов долларов запланировано израсходовать на пушки, танки, самолеты правительством И. Рабина в текущем финансовом году! Добавьте к этому заявку, направленную США, на поставки сверхсовременного аме-

риканского вооружения на сумму в 1,8 миллиарда долларов!

Военный психоз постоянно нагнетается.

Улицы городов Израиля заклеены плакатами министерства труда, которые призывают домохозяек поступать на 100—200-часовые курсы для овладения рабочими профессиями на случай войны, чтобы заменить на заводах мужчин-резервистов.

На границах с Сирией и Иорданией по инициативе военного министра Ш. Переца созданы боевые отряды из инвалидов и стариков в возрасте до 70 лет. Есть батареи 105 мм орудий, обслуживаемые исключительно с добродорными воинами.

Начата своего рода психологическая обработка населения с учетом преобладающего влияния в Израиле религии иудаизма. Газеты на видном месте публикуют предсказания астрологов и раввинов, которые уверяют, будто вскоре начнется запrogramмированная библией война Гога и Магога. Приводится даже четкое расписание предстоящих военных действий. Газета «Гаарец» от 5 октября 1975 года, основываясь на выкладках неких Шабтai Шило и Илана Покара, сообщала: боевые операции начнутся на границах с Сирией и Иорданией. Израиль захватит всю Иорданию и большую часть Сирии, включая Дамаск.

Публикуя эти провокационные материалы, «Гаарец» подчеркивает, что Шило и Покар не болтуны, они, дескать, предсказывали в свое время «трудные дни» для Израиля в октябре 1973 года...

Создается впечатление, что за ширмой разговоров о стремлении к миру на Ближнем Востоке правящие круги Израиля идут на поводу у самых правых сил страны, связанных с сионистскими и милитаристскими кругами, с иностранными монополиями, производящими вооружение.

Чуть ли не каждый день с Ближнего Востока поступают известия о новых разбойных провокациях Израиля против сопредельных арабских государств. Израильские боевые корабли блокируют южное побережье Ливана, военщина Тель-Авива содействует разжиганию братоубийственной войны в Стране кедров. Израильская военщина творит террор на оккупированных арабских землях, агрессоры цепляются за захваченные территории. Упомянутый безнаказанностью, Тель-Авив, используя поддержку мировой реакции, продолжает игнорировать требования международной общественности и решения ООН.

Израиль обычно называют самым милитаристским государством нашей планеты, «страной-гарнизоном»: действительно, военная подготовка израильтянин начинается буквально со школьной скамьи. Еще только приступая к разбору по слогам значков иррита, первоклашка заучивает наизусть из библии: «Вот ваша земля, сыны Израиля, от реки Египетской (Нила.—Л. А.) до великой реки, реки Евфрат». В течение восьми лет учебы израильские школьники 1500 часов изучают «священные книги», с помощью которых детям вдалбливается «исторические» и идеологические обоснования экспансиионистских устремлений сионизма, ненависть к арабам и прочим неевреям, расистские бредни о якобы существующей «исключительности» евреев.

Вооруженные подобной «теоретической» подготовкой, израильские подростки с 14 лет попадают на практическую муштру в батальоны полувоенной организации «гадна», которая имеет военно-морскую и военно-воздушную секции. Юношеский корпус «гадна» находится одновременно в ведении и министерства просвещения и военного министерства. Ежегодно в батальонах «гадна» обработ-

ке подвергается до 20 тысяч молодых израильтян.

Молодежь постарше вербуется в организацию «нахал», в которой занятия сельским хозяйством сочетаются с военной и пограничной службой.

Культ насилия и жестокости—составная часть программы обработки молодежи и в организациях «гадна» и «нахал», и в армии Израиля. Эта обработка проводится на государственном уровне, в ней принимают участие даже министры. Выступая перед солдатами, М. Бегин, в бытность свою членом кабинета Г. Меир, прямо призывал: «Вы, израильтяне, не должны быть сердобольными, когда убиваете врага. Вы не должны сочувствовать ему до тех пор, пока мы не уничтожим так называемую арабскую культуру, на развалинах которой мы построим свою собственную цивилизацию!»

Известно, что понимает Бегин под «строительством цивилизации»: именно под его руководством сионисты уничтожили в 1948 году арабскую деревню Дейр Ясин, вырезав большинство ее населения, включая женщин и детей...

Милитаризм пронизывает собой все поры политической и духовной жизни израильского общества. «Израильянин—это солдат, имеющий отпуск 11 месяцев в году,—невесело шутя в Израиле»,—отмечал французский журнал «Монд дипломатик». Действительно, как писал в своей книге «Сионизм против Израиля» Натан Вейнсток, роль военщины в общественно-политической жизни Израиля беспрестанно растет. «Армейская элита играет ведущую роль в израильской бюрократии и в управлении промышленностью,—отмечает, в свою очередь, сионистский автор А. Перльмуттер в книге «Военные и политика в Израиле».—Многие из них заняли важные посты в гражданской администрации, особенно в министерстве иностранных дел».

Влияние гарнизонной атмосферы в Израиле чувствуется повсюду, начиная с военного жаргона, который прочно вошел в бытовой язык, в репертуар армейских ансамблей, побеждающих на конкурсах, и кончая переодеванием в одежду военнослужащих детей на традиционном еврейском карнавале — празднике «пурим».

Изошренной сионистской обработке подвергаются и все иммигранты призывного возраста. В Израиле их направляют в лагерь «нахал» или зачисляют на действительную военную службу. «Для новых иммигрантов,—утверждает израильская пропаганда,—служба в армии является решающим этапом в становлении хорошего гражданина». Иммигранты составляют 15 процентов персонала артиллерии; еще более высока доля иммигрантов в танковых войсках. Многие танки и самоходки имеют на борту номерной знак, очерченный белым кругом: это означает, что более половины их команд не коренные израильтяне, а молодые иммигранты. Сотни таких сожженных и разбитых машин можно было увидеть на Голанских высотах и в Синайской пустыне в октябре 1973 года...

Сегодня страницы израильских газет заполнены фотографиями молодых парней. Это «свежие кавалеры»: в Израиле завершается награждение участников октябрьской войны 1973 года. Награды вручает начальник штаба армии «нахал» М. Гур. Лицо генерала на снимках скромно: зачастую ему приходится смотреть в глаза не воинов, а женщин, стариков и детей, вдов и сирот, безутешных отцов и матерей. Ведь по опубликованным израильскими газетами спискам, до 40 процентов воинских наград были присуждены посмертно...

«Мы, израильтяне, становимся на-

цией, у которой родители хоронят своих сыновей, нацией калек и вдов!»—заявила член делегации антисионистов Израиля, посетившей недавно СССР, госпожа Фелиция Лангер, известный адвокат.

За шестнадцать дней боев в октябре 1973 года, согласно данным, опубликованным в израильской прессе и, следовательно, прошедшем военную цензуру, «нахал» потерял 2500 человек убитыми и 7500 человек ранеными. Сравните эти цифры с данными о потерях «нахал» в период тройственной агрессии 1956 года и во время «шестидневной войны»: согласно «Энциклопедии сионизма и Израиля», выпущенной в Нью-Йорке, потери «нахал» убитыми в 1956 году составили 108 человек, а в 1967 году—1046 человек.

Бессспорно, израильские данные о потерях в этих конфликтах занижены. Но дело не в этом, а в изменении пропорционального соотношения между цифрами—даже официальными—потерь израильской армии.

Людские потери, как следствие агрессивной политики Тель-Авива, возрастают с каждым новым вооруженным конфликтом на Ближнем Востоке не только в геометрической прогрессии. Но и в процентном отношении к численности еврейского населения Израиля, которое за время с 1956 года по 1973 год выросло незначительно—с 2700 тысяч человек до 2960 тысяч человек. В итоге если в 1956 году один убитый на войне приходился на 25 тысяч израильтян, то в 1973 году этот «расклад смерти» составлял одного убитого на 1184 человека...

Меир, будучи премьер-министром, была вынуждена признать: в октябрьской войне 1973 года потери израильтян в процентном отношении к численности населения были выше, чем потери американского экспедиционного корпуса во Вьетнаме! В этом признании Меир содергится и косвенная оценка возросшей боевой мощи арабских армий, сумевших наложить израильской военщины, вооруженной тем же оружием, что и американский корпус во Вьетнаме, тяжелое поражение.

Типичным для израильской армии является широкое использование наемников, что, кстати сказать, всегда было свойственно всем армиям, воюющим за неправое дело.

По египетским данным, перед началом нападения Израиля на арабские страны в 1967 году в Израиле прибыло около тысячи «добровольцев» из США—военных летчиков и штурманов, ранее служивших в американских частях в Европе и на других континентах. Наряду с американскими военнослужащими вербовались и западногерманские граждане.

В дни израильской агрессии в июне 1967 года многие десятки летчиков-наемников из США и ФРГ обеспечили преимущество Израиля в воздухе. По свидетельству одного из них, пилота американской армии Б. Ларссона, опубликованному в шведской газете «Афтобладет», «в израильских самолетах летали мы, американцы. Всего нас было 192 человека. Официально мы прибыли в Израиль как туристы».

Массовая вербовка наймитов велилась также во Франции, Англии, Голландии, Аргентине, Бразилии, ЮАР.

На кровавом счету израильской армии немало «подвигов», сравнимых с преступлениями гитлеровской военщины и американской солдатни во Вьетнаме. Пиратские акты агрессии против сопредельных арабских государств, пытки пленных, убийства раненых, уничтожение мирных граждан на оккупированных территориях, грабеж, разбой и насилие, динамит и бульдозеры против лагерей беженцев—так применяют на практике полученные знания по «теории» сиониз-

ма израильские солдаты и поселенцы «нахал».

Естественно, что армия расистов и агрессоров, воспитанная на принципах ненависти ко всему человечеству, не может длительное время сохранять высокие боевые качества и начинать загнивать, морально разлагаться. Такие признаки уже налицо. В рядах армии Израиля и «нахал» развивается наркомания. «За два года,—сообщала летом 1975 года швейцарская газета «Трибюн де Женев»,—число наркоманов в Израиле увеличилось с 50 до 100 тысяч. Наркотики стали проникать даже в армию».

Политика «пушки вместо масла и анестезии» вызывает рост недовольства среди рабочих, служащих, интеллигенции, молодежи, что проявляется в усилении оппозиции милитаристскому курсу правящих кругов Израиля, росте стачечного движения. За последние три года забастовочное движение в стране приобрело весьма внушительный размах.

Недовольство охватило в Израиле даже армию. По примеру призывающих США граждане Израиля возвращают повестки о призывае. Молодые израильтяне Р. Лассман, Г. Нейман, И. Якоби заявили: «Мы не желаем служить в захватнической армии, мы не хотим быть угнетателями и причинять другому народу то, что причиняли нашим родителям и предкам».

Гиора Нейман, брошенный в тюрьму за отказ принести военную присягу, сказал, что он намерен провести за решеткой все три года своей военной службы, но не присоединится к «оккупационной армии».

В среде солдат израильской армии распространяет беспокойство за свое будущее после демобилизации из армии. Как пишет лондонский журнал «Экономист», положение демобилизованных солдат в Израиле крайне тяжелое и «уровень их жизни продолжает падать». Это объясняется тем, что молодые демобилизованные солдаты, устраивающие свою жизнь на «гражданке», с особой острой отдают на себе тяжкое бремя военных расходов и налогов. В авангарде этой группы—молодожены. «Молодые мужья в политическом отношении взываю опасны, как порох,—пишет «Экономист»,—поскольку все они—демобилизованные солдаты. Отслужив три года в воинских частях, они хотят сейчас наладить свою жизнь. Во всех крупных городах возникли «группы действия», в которые вошли молодые супружеские пары, и некоторые из них высказываются за самые энергичные меры, такие, как, например, самовольный захват домов, предназначенных для новых иммигрантов».

Не случайно демобилизованные солдаты, признает «Экономист», находятся в рядах антивоенного и антирасистского движения, охватившего ныне Израиль.

Сионистские правители Израиля не на шутку опасаются, как бы нынешние выступления трудящихся не стали детонатором серьезных социальных взрывов. Официальный Тель-Авив страшит и то, что социальные конфликты все чаще связываются с требованием покончить с агрессивной внешней политикой Израиля, пойти на мирное регулирование ближневосточного кризиса, освободить оккупированные арабские территории.

Возросшая способность арабских армий к сопротивлению, опирающаяся на поддержку прогрессивных сил всего мира, показала: не так страшна тель-авивская военная машина, как это пытаются представить империалистическая и сионистская пропаганда. Израильским агрессорам и их ландскнехтам неизбежно придется убраться со всех захваченных арабских земель.

Красота родной земли

СВЕТ ЗОЛОТО



Алексей
НИКОЛАЕВ

Фото
Василия МИШИНА
Специальные
корреспонденты
«Смены»

В МОСКВЕ, в ЗАМОСКОВЬЕ, в ЛАВРУШИНСКОМ ПЕРЕУЛКЕ, в ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕЕ... ИМЕННО ТАМ В РАННЕЙ ЮНОСТИ ВОШЛА В МОЮ ЖИЗНЬ ВОЛГА. ТО, ЧТО ПРОИЗОШЛО, ОСОЗНАЛОСЬ ПОЗЖЕ, НО ТОГДА ТАКОЙ НЕОТРАЗИМОЙ ВЛАСТЬЮ ПОВЕЯЛО ОТ МАЛЕНЬКИХ КАРТИН В СКРОМНЫХ РАМАХ И С ТАКОЙ СИЛОЙ ПОТЯНУЛО К ЭТОЙ РЕКЕ, К ЭТОМУ НЕБУ, К ХОЛМИСТЫМ ЗЕЛЕНЫМ БЕРЕГАМ, ЧТО УЖЕ НЕВОЗМОЖНО БЫЛО ПОВЕРИТЬ В НЕСЪТОЧНОСТЬ ВСТРЕЧИ.

И БЫЛА ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА — КАК ПРИКОСНОВЕНИЕ К ИСТОКАМ; БЫЛИ И ДРУГИЕ, А ТЕПЕРЬ — ПРОШЛИ УЖЕ ГОДЫ — НЕ МОГУ ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ РОССИИ БЕЗ ЭТОГО ТИХОГО УГОЛКА, СЛОВНО ЗДЕСЬ НАЧАЛОСЬ ТО, ЧТО ОДНАЖДЫ И УЖЕ НАВСЕГДА СВЯЗАЛО С РОДИНОЙ.

На Верхней Волге, между Костромой и Кинешмой, далеко в обе стороны лежит широкий плес. Изрезанный оврагами берег так высоко возвес над рекой березовую рощу, что ранним утром и на закате солнце освещает

деревья снизу, отчего листья кажутся легкими и плавущими по небу, будто зеленые облака.

Облака плывут над Волгой, над старинным городком, в самом имени которого — Плес — шелестит река. Притихшие по косогорам, кривые, мощенные кое-где улицы не могут сдержать буйного цвета репейника и лебеды, густой зеленой стеной подступивших к старинным крашеным заборам. Домики с резными наличниками и геранями на окнах сплошь заросли сиренью, жасмином, шиповником. Кружевые водостоки, кованые флютеры на крышеах, тяжелые скобы на вросших в землю воротах — все хранит тихий уют мирного бытия старинной русской провинции. Не найдешь теперь на нашей земле уголка, где жизнь остановилась бы в прошлом веке, не стала она и в Плесе, но любовное бережение старины — стиль жизни этого городка. Есть тому причины особые.

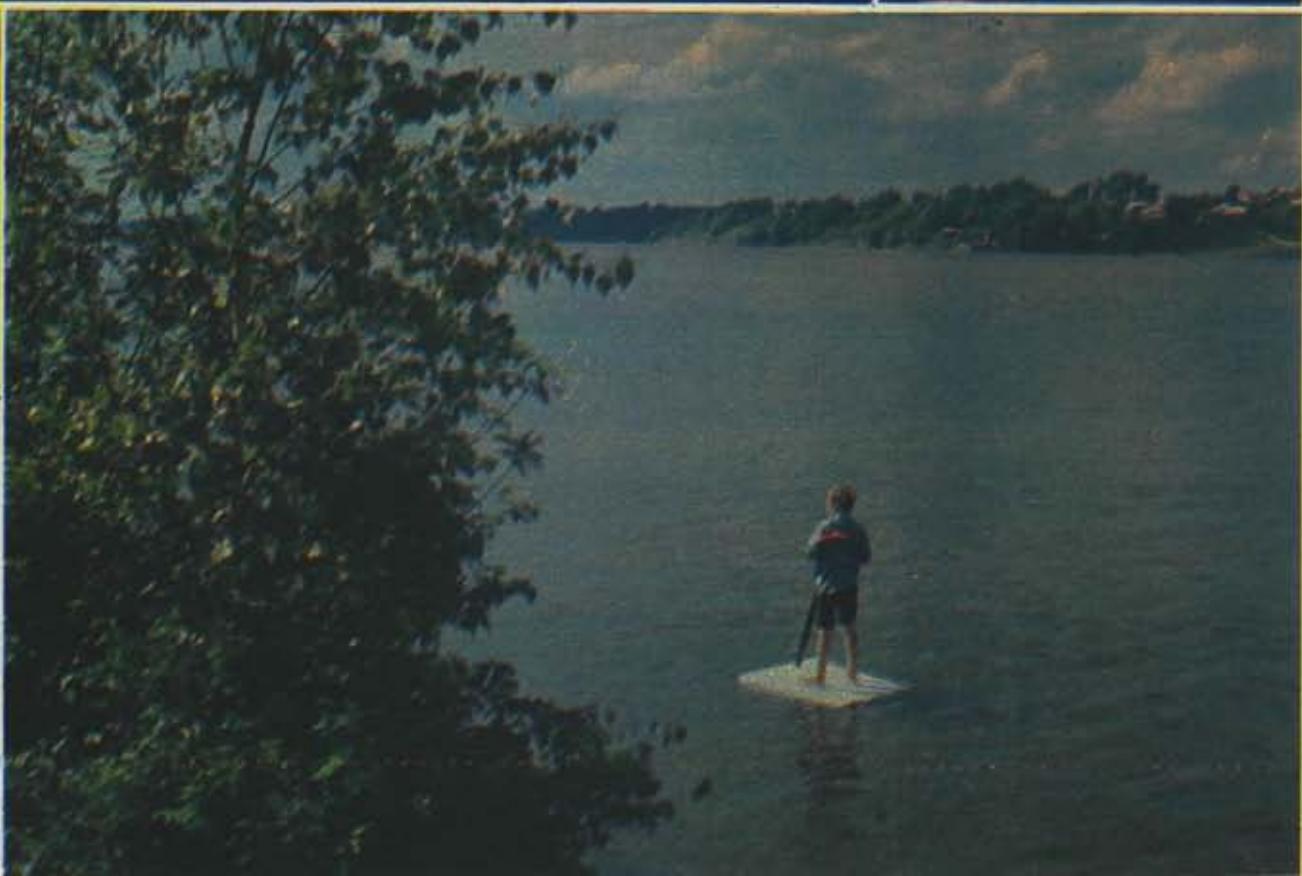
Историческую жизнь Плеса от рождения его дотошные краеведы могут собрать по малым крупицам, но невелик будет итог, хотя и восходит родословная городка к языческим курганным временам. История его скучна достоверными фактами, и драматическое смешивается здесь с забавным.

Достоверно известно, что в самом

ГОРДОСТЬ ПЛЕСА

начале пятнадцатого столетия сын Дмитрия Донского повелел «рубить град Плесо» в качестве сторожевой русской крепости на Волге. В беспокойные годы нашествий ковали здесь из уральского железа знаменитые топоры, равно годные для ратных и мирных трудов; с ними ходили «воевать Казань» и ставить терема и храмы в окрестных землях. Молва ли, правда ли, а вспоминают здесь о знаменитом разбойнике, который «с шайкой подобных себе был ужасом для проезжающих, часто являясь неожиданно там, где его и не думали видеть. Но между делами своего ремесла изредка мешал разбойничье величие, способствовавшее величать его Иваном Фадеичем».

Простодушие стиля искупает сомнение в достоверности, к тому же и неоспоримым историям найдется в родословной Плеса свое место. Так, в славный 1812 год внес городок свою довольно своеобразную лепту. В Плес было, нынешним словом говоря, эвакуировано Московское театральное училище—событие, как вспоминают очевидцы, всполошившее городок пуще войны. Отчего, представить не трудно: жили тут тихо, богобоязненно, мужики ловили стерлядей, гнали лес в низовые губернии, ходили бечевой, бабы пряли лен, ткали холстину на продажу; в одной лавке торговали дегтем, пряниками, веревками, сахаром, колесами, а тут—балет!.. Сохранившийся документ не даст выдумать лишнего: «Особенно удивляло то, что девушки





В этот день, как назло, небеса потемнели от первого снега, и снежинки хлестнули в глаза, значит, летняя песенка спита.

Это значит, что снова зима загуляла по русским дорогам... Как Евгений, сошедший с ума, я от Медного всадника боком.

Лишь единственный солнечный луч вдруг прорезал белесую дымку и, мелькнув на мгновенье из туч, закатился с метелью в обнимку.



подымали ноги в разные стороны, вертились; бабы, которые посмелее, говорили: «Ах, матки мои, как их вертит нечистая сила, как она их подымает!» Некоторые из них плевали, крестились и читали про себя молитвы, другие же, остылые от удивления, стояли с разинутыми ртами. Через несколько времени жители города Плеса стали бегать от дома, занимаемого училищем, как от чумы; хозяин же его соглашался заплатить большие деньги за то, чтобы прекратили преподавание чертовой науки...

Тут уж, чтобы закончить, самое место вспомнить об одном из плесских городничих. По какому-то странному стечению обстоятельств вступил он в должность бедным — буквально ни кола ни двора — дворянином. Но так ловко правил городом, что оставил наследникам несколько деревень с крепостными да капитану изрядно... Не припомните ли знакомца нашего давнего?! Да вот беда, говорят, не наезжал в эти места Николай Васильевич Гоголь...

Так проявляются потихоньку контуры жизни провинциального городка, которому «повезло» и в том, что в семидесятые годы обошла его сторной «чугунка»; за глухими лесами скроились плесские холмы от промышленного бума.

Но если, прожив долгую жизнь, не оставил нам Плес величественных памятников зодчества, как волжские его соседи, и если летописи не припомните против его имени событий особой государственной важности, какими знамениты окрестные города, то крепко и навсегда вписан Плес в историю отечественного искусства. Тут и разгадка, почему не тронут и так бережно храним облик Плеса того времени, когда царил здесь последний провинциальный российский век, когда обживать городок стали художники.

Первое путешествие Репина по здешним местам открыло ему, по собственному признанию, новый, спря-

Афганский дневник

Склоняясь на запад, солнце жгло, тропа то вниз вилась, то круто вползала в гору...

Тяжело я возвращался из маршрута. Куда ни глянь — хребты кругом, снега да голубые реки. Но я на мир глядел с трудом: от солнца воспалились веки. Я дотянул до кишлака в мечтах о сладости ночлега и, сбросив лямки рюкзака, лег отдохнуть в тени ореха. Среди гранитов и снегов — десяток хижин глинобитных, десяток жалких очагов — полу живых и первобытных... Старик в халате и в чалме — я приходил в себя покуда — степенно подошел ко мне, и я спросил его:

— Откуда
твои пррапрацуры пришли,
в который век, в какое время
в угрюмый край, где нет земли,
где только вечность да каменья?
Был странен этот разговор...

— Нет, мы не курды и не персы.
— А кто?
— Спроси у этих гор!
Мы всем соседям иноверцы.
Я деда спрашивал:

— Ответь,
кто «мы»? — И услыхал от деда,
что «мы» — едва живая ветвь
давно исчезнувшего дерева.

А скоро холода, и снег
зavalит тропы на полгода...
Так и живем который век,
чтоб не распались звенья рода...
Старик с охапкою травы
побрел в убогое жилище.
Я встал, и нить моей тропы
прошла сквозь древнее кладбище.
Цветные тряпки на шестах,
необработанные плиты —
вот что венчало чуждый прах,
чужие страсти и молитвы.
Кто эти люди?

Все равно.
Моя судьба к ним не причастна!
Но вдруг надгробие одно
меня остановило властно.
Ладонь к ладони — два следа,
два слепка в глине обожженной,
окаменевшей навсегда,
к холодным звездам обращенной.
И даже линии судьбы
в их отпечатках простили,

как будто были те следы
шедевры дактилоскопии,
как будто небу говоря
в глухой тоске, в надежде смутной:
— Здесь лег не кто-нибудь, а я,
смотри, ни с кем меня не спутай!
Как будто бы ему грозя
за все прижизненное бремя,
как будто бы его просия
сберечь затерянное племя...
Под равномерный гул реки
Гиссар сиял в спящей сини.
Он вечен был, как две руки,
запечатленные на глине.



Весь день пыпало солнце, плавя льды, вот почему, как признак наводненья, в реке поднялся уровень воды и Майхура поволокла каменья.

Конь прядает ушами и хранит,
когда его ты направляешь в реку...
Не торопи коня, не торопи,
он сам найдет надежный путь к ночлегу.

Погладь по холке — он отыщет брод...
Но, из стремян освобождая ноги,
взгляни: луна взошла на небосвод,
и засверкали горы, как чертоги.

танный академическими ширами мир. Здесь зародилась в его искусстве тематика народной жизни, так мощно и блистательно прошедшая через все репинское творчество. Спутник Репина по этому путешествию Федор Васильев именно здесь почувствовал национальную тему в пейзаже. Юношу буквально потрясла выразительность здешней природы. Тогда он сумел сказать об этом в «Волжских лагунах» и с удивительной силой завершить в знаменитом «Мокром луге»... Здесь, в обозримых окрестностях Плеса, создавал Саврасов своих «Грачей» — картину, совершившую, как известно, переворот в русском пейзаже...

И все же ждали еще эта природа, земля, Волга и городок на зеленом берегу своего певца. Ждали художника, чьи картины обладают для нас такой завораживающей притягательной силой, что многим трудно представить себе русский пейзаж без этого тихого угла нашей земли.

Говорить о том, что Левитан открыл Плес, а Плес открыл Левитана, стало уже общим местом. А между тем в судьбе художника, как и в судьбе маленького городка, им воспетого, произошло поистине чудо. И странно представить теперь, что чудо началось с разочарования.

Как горькая исповедь, почти отчаяние, звучит его письмо к Чехову: «Ждал я Волги, как источника сильных художественных впечатлений, а взамен этого она показалась мне настолько тоскливой и мертвой, что у меня заныло сердце и явилась мысль, не уехать ли обратно? И в самом деле, представьте себе следующий беспрерывный пейзаж: правый берег, нагорный, покрыт чахлыми кустарниками и, как лишайми, обрывами. Левый... сплошь залитые леса. И над всем этим серое небо и сильный ветер. Ну, просто смерть... Сижу и думаю, зачем я приехал? Не мог я разве действительно поработать под Москвою и не чувствовать себя одиноким и с глазу на глаз с

громадным водным пространством, которое просто убить может...»

Вряд ли нужно винить в таком состоянии художника гнилую, промозглую весну и худое, дождливое лето, которые выдались на Волге в том 1887 году. Истинную причину тяжелого разочарования отыщем мы в тех же строках приведенного письма. Левитан говорит о «беспрерывном», «громадном пространстве», и это объясняет многое. До сих пор он знал и любил иную русскую природу. После интимного, камерного пейзажа Останкина, Звенигорода, с его мелкими формами, отчетливыми подробностями рельефа, эта почти космическая беспредельность, неоглядные пространства, уходящие за горизонт, подавали Левитана. С точки зрения психологии творчества объяснить такое состояние можно чувством растерянности, которое испытывает большой мастер перед неведомым, ведь здесь стоят художественные задачи, ему еще не известные.

Не хочется думать теперь, что было бы, поддайся Левитану этому первому настроению и если бы победило смятение чувств, свойственное тонкой и нервной его натуре. Но победил художник.

Трудно представить, как жил, чувствовал, искал Левитан в эти дни первой своей плесской весны, но очень скоро вслед за отчаянным письмом Чехов получает другое: «Я никогда еще не любил так природу, не был так чуток к ней, никогда еще так сильно не чувствовал я это божественное нечто, разлитое во всем, но что не всякий видит, что даже и назвать нельзя, так оно не поддается разуму, анализу, а постигается любовью».

Он уже сделал первый шаг к истине — полюбил.

Но не сумел еще коснуться истины. Для этого нужно перешагнуть барьер неуверенности: «Может ли быть что трагичнее, как чувствовать бесконечную красоту окружающего, подмечать

сокровенную тайну... и не уметь, сознавая свое бессилие, выразить эти большие ощущения...»

Достаточно посмотреть этюды Левитана, писанные в его первую поездку на Волгу, чтобы увидеть, как сила любви к природе преодолевает неуверенность. Эти этюды — свидетельство состояния художника и его исканий. Иногда это несколькими мазками мгновенно схваченное освещение. Иногда кисть в каком-то неистовом порыве, экстазе ищет и находит ту широту, тот пространственный размах, который путал, завораживал Левитана и который, как начинал он чувствовать, составляет самую суть, сердцевину этой природы.

Левитан работал все лето как одержимый. Легкость, аристизм, виртуозное владение цветом, с помощью которого умел он передать всю гамму чувств от поразившего его пейзажа, — все это было в этюдах, написанных на маленьких картонках, дощечках и даже крышки от сигарных коробок. Довolen ли был художник, мы не знаем. Но пока еще он видел в волжской природе то, что так глубоко и проникновенно умел чувствовать и выражать раньше, — ее элегические мотивы.

Написанные по этюдам первые плесские картины «Разлив на Суре», «Вечер на Волге», «Пасмурный день на Волге» стали украшением зимней Передвижной выставки. К тому времени Левитан уже был художником, от которого «ждут», и на этот раз ни публика, ни критики в ожиданиях не обманулись. Картины молодого мастера (Левитану исполнилось двадцать семь лет) были по-прежнему блестящи и даже новы сюжетно. Первые плесские работы еще больше закрепили за художником славу «певца сумерек», к тому же это было в духе времени. Только очень немногие могли уже тогда увидеть, что Левитан стоит на пороге чего-то нового, еще неизвестного.



Прощай, мой ненадежный друг,
нам не о чём вести беседу.
Ты вожжи выпустил из рук,
и понесло тебя по свету.

В твоих глазах то гнев, то страх,
то отблеск истины, то фальши...
Но каждый, кто себе не враг,
скорее от тебя подальше.

Спасать тебя — предать себя.
Я лучше отступлю к порогу,
не плакальщик и не судья,
я уступлю тебе дорогу.

Коль ты не дорог сам себе,
так, значит, я тебе не дорог...
Как ворох листьев в октябре,
шумят воспоминаний ворох

о времени, когда гудел
январский лес в ночи морозной,
а ты в глухую в ночь глядел
и любовался ширью звездной.

Храним призванье и судьбой,
глядя в грядущий день без дрожи,
и были оба мы с тобой
друг друга лучше и моложе.

Воспоминание о спорте

В бедной юности, сплавившись, как дым,
я, как все, был азартен и пылок,
но в забегах держался вторым —
не люблю, когда дышат в затылок.

Круг за кругом, но не отставай...
Шаг за шагом — печатай по следу...
Он лидировать хочет — пускай!
Но, когда он поверит в победу,

Надо сделать усилие вдруг
и скользнуть элегантною тенью,
вырывая фортуна из рук
у забывшего цену мгновенья!

Финиш!
Лента!
Хронометры — стоп!
Оркестранты дубасят в листавры...
Мой соперник схватился за лоб —
здесь должны шелестеть эти лавры!

Проклиная за глупость себя,
он упал на зеленое поле...
Взятки гладки, мой друг, и судья
расписался уже в протоколе...

Не горюй! Мы еще побежим!
Кто тогда победит, неизвестно...
А сегодня нарушим режим
в честь второго и первого места.



Есть дорога, земля и вода,
сладкий дым путевого начальника,
сила в мышцах и в небе звезды —
все, что надобно для человека.

Есть дурманящий вкус новизны,
зов пространства и женские взоры...
Я дождусь и с грядущей весны
отправляюсь в небесные горы.

Там шумят снеговые ручьи,
там созвездья склоняются к высям...
Не перечь моей воле, молчи.
Мир прекрасен, а дом ненавистен!

II
Есть четыре заветных стены.
Полка с книгами. Души любимых.
Руки матери. Очи жены...
Что ты ищешь в туманных глубинах?

Есть гнездо на ветру мировом,
есть хоть несколько найденных истин...
Оглянись ради бога кругом —
дом прекрасен, а мир ненавистен!

III
Ты не понял, что древняя связь
пролегла между домом и миром
и ее, равномерно боясь,
обозначило сердце пунктиром.

Две мучительные страсти твои
примирит золотая средина.
Ты немного еще погоди,
и сольются они воедино.



Когда взошли на перевал,
то расстягли кобылу
и порешили, что привал,
что дальше не под силу.

А море где-то в двух шагах
без умолку гремело,
катилось к берегу и — а-ах! —
взрывалось то и дело!

Над нами плыли облака
с полудня и до ночи,
и я тогда смежил слегка
натуженные очи.

Свалился на земную грудь,
к ней приложился ухом,
к той самой, что когда-нибудь
да будет легким пухом!

Рисунки Сергея МОНИНА

Чувствовал это и художник, потому что, отказавшись от заманчивых предложений, ранней весной, вслед за ледоходом, снова уехал в Плес. И снова писал как одержимый. Но теперь он уходил работать подальше от города, — ему мешали, и, как это ни странно, «виноват» был он сам. Дело в том, что первые плесские картины не только заметили на выставках, но и дали им весьма своеобразное «толкование», — в тихий, забытый богом уголок из Москвы и Петербурга хлынули дачники. Это было похоже на нашествие. Немощенная набережная, кривые улички по косогорам запестрели цветными зонтиками, белыми платьями женщин и темными сюртуками мужчин. В тихую провинцию столичная буржуазия вносила свой стиль. Рядом с лавкой, торговавшей дегтем и пряниками, рассудительный антрепренер завел летний театр; играли «Прекрасную Елену» и «Короля Лира»; играли скверно. Не дремали и акционеры: у берега поставили сразу четыре дебаркадера конкурирующих пароходных компаний — «Самолет», «Кавказ» и «Меркурий», «По Волге» и «Русь». Акционеры, купцы и дачники веселились. Это раздражало Левитана, как военная музыка в городском саду. Он уходил далеко и писал с утра и до заката.

На высоком холме, среди словно прислушивающихся берез, белел большой зонт художника. От розовых стволов ложились на косогор длинные прозрачные тени; они точно потягивались в сонной истоме, разбуженные утренней свежестью. Левитан ощущал это почти физически, так близко была природа его чувствам. Он писал с упоением и страстью. Отсюда, из прозрачно-зеленого сумрака бересовой рощи, открывался вид, который вбирал в себя весь мир, и мир этот делило надвое плавно-спокойное течение Волги. Могучая и изменчивая красота реки манила к себе таинственной неизмеренной силой.

Волга «говорила» цветом, и от безмолвного этого языка у Левитана замирало сердце. Застенчиво-розовый утренний румянец вздрагивал на воде и, чуть подернутый прохладной свежестью, неуловимо теплел, таял, и к полудню река вбирала в себя пронзительно-ослепительную синеву неба. Когда синяя казалась нестерпимой и Волга лежала индиговая, от горизонта медленно тянулось ледниковой белизны облако и, останавливая ленивый ход, ложилось вполне, замирало и точно шуряло на солнце в дремлющем невесомом мареве, а насытившись полуденным блаженством, медленно багровело и наливалось тревожными красками. Марево густело, опускался, заволакивая все вокруг, холодный свинцовый оттенок, и, как разорванные паутинки, быстро бежали по небу частые клочки облаков. Ветер с ливнем налетал стремительно. Березы метались, как перепуганные, и уже не видно было ни оттенков, ни берегов — Волга и небо сливалась в одну, все поглотившую стихию. И так же неожиданно грохот сменялся тяжчим гулом, потом шумом, а через мгновение отскакивающие от реки капли блестели в пробивающемся где-то свете. Потом в тишине, упавшей, как и грохот, с неба, чуть вздрогивали на тонких стебельках еще не успокоившиеся листья, и с высоты шел непонятный, неохватный, но торжествующий свет. Он был сквозь разметанные, лишенные контуров облака, а коснувшись воды, упруго входил в небо. Небо, как молнией, рассеченное наискось этим светом, казалось кисейным и рвалось от легкого прикосновения невидимого ветра. А когда облака, так и не открыв солнца, вместе с солнцем свалились за горизонт и по кромке берега заклубился туман, заплывая в низины оврагов, Волга лежала спокойная и смуглая — цвет молока из русской печки, — и теперь казалось, что не небо — река излучает свет, а небо вбирает его со всеми меняющими

мися и неуловимыми в этой перемене оттенками.

Левитан подумал, что в этот один день, в мелькающей череде мгновений, природа прожила целую жизнь во времени и пространстве. Он хотел остановить на холсте это мгновение, остановить так, чтобы в нем пульсировало жизнь природы. Мгновение ускользало. Небольшие прямогульники этюдов сменяли друг друга. Левитан писал, искал и, кажется, находил, но, всмотревшись в свежий влажный этюд, бросал кисти, брал мастихин и выскребывал до грунта все, что создавал с такими сладкими и тяжкими муками.

В мучительной работе шло постижение природы, выражение которой — он чувствовал это — требовало нового мастерства. На Волге Левитан понял, что прежние, с таким трудом найденные, выверенные и до совершенства отточенные приемы передачи воды, неба, зелени с помощью цвета здесь были бессильны. И только теперь начал он открывать сокровенные тайны иной, неподъемной ему раньше тональной живописи. Он понял, что передать эти бесконечные, беспредельные развороты пространства с мгновенно меняющимися освещением можно только с помощью перехода одного тона в другой. Он понял это, и, когда под сильным первым впечатлением в этюде прорывались буйные солнечные краски, которые сами по себе казались правдивыми и точно отражающими натуру, художник, открывший теперь «сокровенную тайну» новой живописи, обуздал их и цвет превращал в тон.

Волга подарила ему это откровение. Но Левитан не был бы Левитаном, если бы только техника и формальные живописные открытия одни были компонентами его искусства. Да, он умел передать на полотне, как плесятся вода о почтенневшие от сырости борта лодок, и передать так, что, кажется, сам ты слышишь этот переливчатый

плеск; он умел написать бегущие облака так, что, стоя перед картиной, испытываешь легкое головокружение, какое бывает, когда долго смотришь в небо; пробивающиеся сквозь листву солнечные блики он умел написать с такой степенью достоверности, что, глядя на них, чувствуешь мягкое прикосновение тепла... Этому Левитан учился всю жизнь и довел до совершенства в волжских своих картинах.

Но не это было главным. Левитан стремился постичь самую душу родного пейзажа и, будучи по призванию психологом природы, изображал ее внутренний мир, то, что за сюжетом живет своей эмоциональной жизнью. Как некогда в Подмосковье постиг он мягкую интимность русской природы, уголок ее души, который трогает самые тонкие струны и заставляет замереть сердце, так здесь, на Волге, начал он постигать ее раскованность и захватывающую дух широту.

Поездки Левитана в Плес одарили нас новым «узнаванием» России. Это драгоценное чудо. Но они совершили чудо и в душе самого художника, ибо здесь обрел Левитан незнакомое ему прежде мироощущение. В столь любимые им элегические мотивы мягко, но властно начинает входить светлая мелодия. Она мелькнула в картинах «После дождя. Плес» и «Вечер. Золотой плес». Только мелькнула. Первым увидел это Чехов. Он долго смотрел привезенные из Плеса работы, а пропаща, сказал: «Знаешь, в твоих картинах появилась улыбка».

Улыбку Чехов заметил, когда не были еще написаны такие шедевры волжской сюиты Левитана, как «Золотая осень» с ее ошеломляющим мажором и «Свежий ветер», где все звенило в торжественной монументальной мелодии раскованной радости. Это будет потом.

Будет, потому что здесь, на Волге, Левитан почувствовал такую привязанность к русской природе, порвать

которую уже были не в силах никакие красоты иной земли. Он трижды ездил за границу, видел пейзажи удивительной красоты, но на берегу Генузского залива вспоминал Панин луг и писал в Россию: «Зачем я здесь? Что мне нужно в чужой стране, в то самое время, когда меня тянет в Россию и так мучительно хочется видеть тающий снег, березку...» Потом — Чехову: «Сижу у окна и смотрю на Монблан. Величаво до трепета... Пытался несколько раз писать — ни к черту!»

Он писал в Швейцарии, в Италии, в Финляндии, писал прекрасно, со свойственным ему блеском и аристизмом, но его сердце, его искусство оставались в России. В России осталась природа, с которой одной мог он говорить задушевно, как с собственным сердцем. Потому что манили его от чужих красот Соборная гора, березовая роща над Волгой, маленький заштатный городок с кривыми улицами по косогорам, заросшими лебедей и репейником, с домиками в разных наличниках и геранями на окнах...

Манил Плес и нас, и удивительно, но мы уже не можем представить этот



городок без картин Левитана. Кажется, сказали они о русском пейзаже все, но здесь невольно ловишь себя на искушении сравнивать...

Сколько таких же безвестных мест во Франции прославлены современниками Левитана — импрессионистами, и кто из нас не восхищался их картинами! А восхищаться есть чему: и поразительным открытиям импрессионистов в области света, и исключительной остроте взгляда, и глубокому анализу натуры. Однако, понимая, осознавая это блестящее, умное, но все же «препарирование» природы, мы чувствуем, что прекрасные эти мастера не оставили нам, зрителям, места для сопереживания. Картина постигается только разумом... У Левитана же живопись — из области чувств. Он не стремится поразить нас какими-то эффектами или красотами пейзажа. Ну какая, в самом деле, красота, эстетика в болотных кочках, чахлых кустарниках, сумрачном мокром небе!.. А взглянешь на холст — так и пахнет на



тебя родным, единственным, неповторимым. Потому что, выбирая эти мотивы, художник обращается не столько к нашему взгляду и разуму, сколько к сердцу, показывая природу не как «объект изображения», а как камертон человеческой души.

Может, именно поэтому, глядя теперь в музеях на пейзажи Левитана, мы поражаемся не столько красоте природы, сколько богатству и глубине человеческих чувств, с такой силой откликающихся на родную природу. И как бы прилежно ни рассматривали мы в музеях картины Левитана, как бы искренне ни восхищались «непревзойденным мастерством пейзажа настроения», нужно прислушаться к словам Паустовского об одном из самых любимых им русских художников: «Лучше всего Левитана можно понять и крепче всего полюбить в глубинах страны, столкнувшись лицом к лицу со всем, что было его поэзией».

Мысль эта, простая и емкая, зовет в Плес. Теперь там осень — любимая пора Левитана. Утром холодный ветер высинит до нетерпимого блеска Волгу, пустит по индиговому плесу белые

гребешки, и зазвучит, зазвенит освистанный ветром простор. Ветер отзовется в кривых улочках городка, как в струны, ударит в облетевшие ветки за краснеными заборами, тронет багряное золото березовой рощи на высоком холме, а когда утром и на закате солнце осветит рощу снизу, будет казаться, что легкое золотое облако, качаясь, плывет над волжским плесом.

К закату лягут на Волгу левитановские туманы, и меняющийся цвет ранних сумерек будет так же ускользающе-неуловим, как и в его пору. Над туманами опустится глухая осенняя ночь, и тогда из оврагов потянут прямыми грибными запахами. Запахи так сильны, что их слышно на пароходах. Осенью пароходы блуждают в туманах и ходят без расписания. Ночью их угадаешь только по гудкам да по мачтовому огню, который один тихо ползет среди неподвижных блестящих звезд.

Может быть, это ваш пароход подходит к плесской пристани?..

СУПРУЖЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Владимир СВИРИДОВ

Он увидел ее издали. Она сидела неподалеку от клумбы пурпурных маков и листала журнал. Это была длинноногая натуральная шатенка в голубеньком платьице с предельно волнующим декольте.

Он уже давно ощущал потребность хорошенько встремнуться, нарушить надевший своей занудливой нескончаемостью цикл: дом—работа—дом. Ему захотелось хоть на немного почувствовать себя человеком, берущим от жизни чуток больше, чем это делает он сам. Он питал добрые чувства к своей супруге, на которую истратил семь лучших лет своей жизни и с которой имел общих чудесных детишек, однако природа требовала новых импульсов, новых эмоций, и поэтому он после долгих раздумий решил несколько видоизменить свой образ жизни. Он было прицелился на посадку, но под ехидно-догадливым взглядом сидящих рядом с ней старушек переменил курс, лихорадочно отыскивая убедительный для этого дела повод. Квалификация на предмет знакомства с девушкиами за время супружеской жизни была полностью утрачена, поэтому приведшая в голову мысль показалась просто гениальной. И он, смело усевшись рядом с ней, развернул газету с кроссвордом.

— Извините, девушка, вы не подскажете синоним слова «поклонник»? Шесть букв по горизонтали.

— Хахаль!—пustил с соседней скамейки мужчина во френче.

Старушки оживленно зашушкались.

— Ухажер, подходит?—с улыбкой спросила девушка.

— Точно. Теперь и по вертикали совпадает.

Они разговорились. Его звали Олег, ее—Татьяна. Разговор петлял по лабиринтам различных жанров искусства,

ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

касаясь то поп-музыки, то художников эпохи Возрождения. Олег рассказывал увлекательно. Татьяна с любопытством слушала.

— А что, если мы с вами, Таня, в кино сходим?—неожиданно предложил он.

Она покачала плечами.

— А что смотреть?

— Какая разница, я триста лет в кино не был.

Таня усмехнулась.

— Везет же людям, а я пятьсот. В любом случае срок солидный, можно сходить.

— А потом махнем в ресторан, а?—развивал наступление Олег.

Старушки ахнули от такого дьявольского натиска и, затянув дыхание, ждали, чем все закончится.

— О, да вы, оказывается, профессиональный из шести букв по горизонтали.—Девушка покачала головой и незло погрозила ему пальчиком.

Фильм оказался неважным. Олег остановил такси.

— В «Иверию», шеф!

— Простите, Олег, вы кто—кинорежиссер или так, академик?—не выдержала Татьяна, когда они сели в машину.

Он отрицательно покрутил головой.

— Ну, тогда продавец или кладовщик?—не отставала она.

И снова нет.

— Просто жулик?

— Инженер, самый обыкновенный инженер,—рассмеялся Олег.—К чему все это?

— Просто так. Надо знать, с кем имеешь дело. Между прочим, у вас размах настоящего кавалера.

— А чем занимается прекрасная дама?—смутившись, спросил он.

— Я?—Она на секунду задумалась.—Я скорей всего специалист широкого профиля.

Заказывала она. Он сидел и про себя тихонько подсчитывал, во сколько это в конце концов обойдется.

— Танечка, пожалуйста, не надо стесняться,—подбадривал Олег.

— А я и не стесняюсь,—нахально заявила она. Из дома он прихватил недельный семейный бюджет, а тут уже как раз половину одни цыплята табака склевали. Пока он соображал и боролся с экономическим кризисом, какой-то длинногривый хлюст увел Татьяну танцевать. Олега царянула ревность. Хлюст время от времени порывался заарканить ее талию, но она ловко спихивала эти петли, вызывая тайную привязанность Олега. Он все больше и больше приходил к выводу, что она очень даже ничего, и смерил разволнованного хлюста таким взглядом, что по крайней мере на ближайший квартал отбил у него охоту посягать на чужих дам.

— Очень внимательный мальчик,—кинула в его сторону Татьяна.—Что вы, говорит, девушка, с этим кроликом решили загубить вечер? У меня такое ощущение, что у него либо мозжечок ударили, либо вот-вот посыпят за растрату.

— А ты что?—разозлился Олег.—Как на это?

— Я сказала, что ты полковник милиции. Может, говорю, спросить, что у него с мозжечком? А он: «Что вы, что вы, я пошутил!»

Олег молча ругался: сопляк, пижон, хиппи проклятый.

— Ну-ну, пойдем танцевать, товарищ ухажер,—пригласила его Татьяна.

Он обнял ее так, как пытался до этого сделать его патлатый предшественник.

— А ты красивая,—сказал он вдруг.

— Да что вы говорите?—слегка кокетничая, протянула она.—Наверно, император подсказывает.—Татьяна кивнула на бутылку с «Наполеоном».

Потом становилось все веселее и веселее. Она громко смеялась над его остротами, а один раз даже поцеловала в щеку.

Подъезжая к Москве, он взглянул на часы и зевнул.

— Завтра рано вставать, черт бы побрал эту работу.

— Банины мальчик хочет? А зевать, кстати, при dame неприлично.

Они поднялись на шестой этаж. Татьяна достала ключи и предупредила:

— Осторожней громыхай, а то маму разбудишь.

Утром она сварила кофе и пару яиц. Уходя, он нежно ее поцеловал и ласково щекнул по носу.

— А вчера было здорово, а?

Она шаловливо сморщила носик и молча кивнула.

Обычно тянувшийся, как жевательная резинка, рабочий день пролетел мгновенно. Олег позвонил домой. К

телефону подошла теща и поинтересовалась, где это он ночью болтался.

— С женчиной! В ресторане!—с размахом залепил он.

Теща обмерла от такой наглости, но потом, сообразив, что если бы так было на самом деле, то зять вряд ли стал бы откровенничать, от души отомстила:

— Не с твоей зарплатой по ресторанам баб водить, разве в пельменную?

Олег не обиделся, жаль было хорошего настроения. Вечером он был на речном вокзале. Пароход плыл по есенним местам. В разном калибре толпе, прильнувшей к борту, Олег обнаружил стройненькие джинсы и направился к ним.

— В вас, девушка, есть что-то от Моны Лизы,—тоном кадрового любовника заметил он.

— А я вас от Савелия Крамарова,—отпариowała она и отошла в сторону.

Олег обхаживал ее целый вечер, но она не обращала на него никакого внимания. Наконец он подкраулил ее на корме и, выждав, когда будет поменьше народа, взял за локоть.

— Почему ты меня избегаешь?

— Ведите себя приличней, молодой человек!—Девушка вырвала руку.—Что за хамство?

Олег опешил.

— Но ведь мы так не договаривались...

— А ты как думал? Вчера споил белую девушку, деньгами швырялся и возомнил, что все тебе на блюдечке!—Она засмеялась.

— Танечка, но ты все-таки моя жена, хватит.

— А ради чего мы с тобой придумали эту игру? Так хорошо! Ресторан, знакомство, кино, пароход... Внимание, ласка—даже чудно. Хоть женщиной себя почувствуешь. Сам ведь предложил.

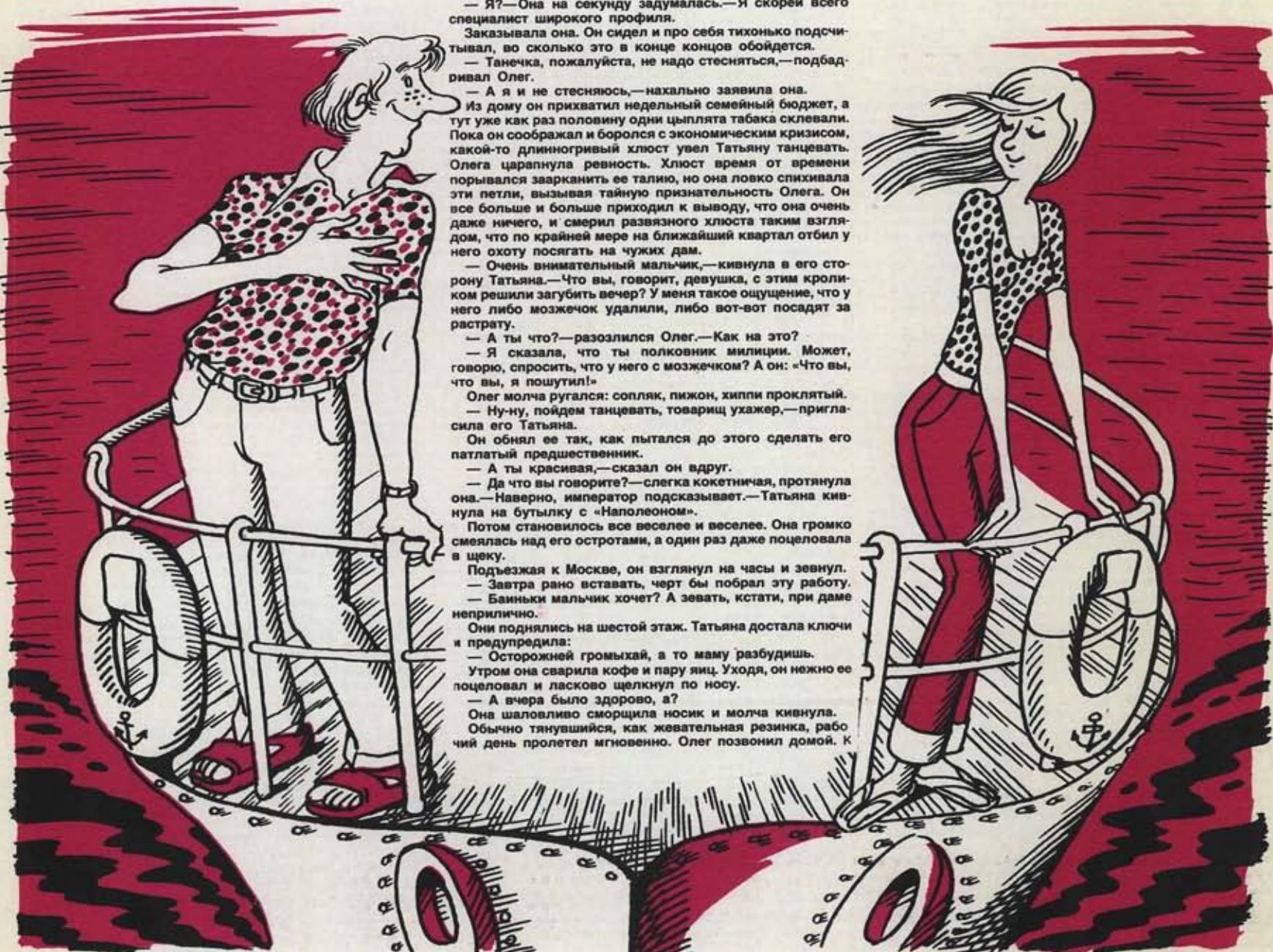


Рисунок Сергея Тюнина

ВИШНЕВ

И

юньский полдень томительно душен. Ветра нет. Только далеко за рекой, за торфяным болотцем с черными водяными окнами, за вицветшей от жары полоской леса на горизонте голубой краешек неба уже чуть припухал темно-лиловой тучей. Если идти к лесу, то за поворотом дороги, за оврагом можно отчетливо разглядеть рубленые домики села, почерневшие стены церкви на пригорке, сосны в сетках галчинных стай. Именно туда и протягивается трасса будущей автомобильной дороги первого класса и строящемуся аэродрому.

Даже следов этой трассы пока нет. Она только условно помечена на карте красной и черной тушью. Им предстоит сделать ее безусловной. Закончат съемку местности, сделают чертежи, подробно укажут, где что нужно засыпать, снести или срыть, и уступят через строителям. Но и сейчас Второв видел ее, как мираж, перечеркнувшую реку, и овраг, и далекое село с ветхой церквушкой — две глянцево-серые ленты с бархатной зелено-разделительной полосой.

А пока что геодезисты шагали по пыльному проселку, плывущему среди оврагов и косогоров, таскали двадцатиметровую измерительную ленту, забивали в сухую каменную глину стальные шпильки, разбивали «пикеты» — ориентировочные точки на будущей трассе, вели подробный журнал нивелирной съемки, куда заносилось все, что соседствовало с ходом пикетажа: дома, сады, колодцы, столбы электролинии.

Их было пятеро, совсем как в старом фильме: Второв — инженер-дорожник уже с десятилетним стажем и четверо студентов, проходивших у Второва преддипломную практику. Практика им, естественно, зачтется, но бригада их отнюдь не учебная — дорстроевская. И укомплектована она не полностью, поэтому каждому приходится работать за двоих. Конечно, профессионалам-дорожникам было бы легче, но Второв предпочел студентов: и сам от них не так уж далеко ушел, да и интереснее ему с ними. Вот и сейчас он оглянулся на своих ребят, крикнул:

— Перекур! — спрятал журнал съемки в планшет, уселся прямо на сухую жаркую землю.

Он любил эти дорожные привалы после долгих переходов, замеров и записей. И не только потому, что походная жизнь рождала свои традиции — за бывучным столом собирались его семья. Он не знал иной с тех пор, как покинул институтскую скамью. И лишь в бригаде — на привале, где-нибудь у реки, у костра, в палатке, еле освещенной походным фонариком, или за чайником на постое, а то и просто в неухоженной таежной охотничьей избе — рождалось привычное ощущение домашности, семейности. Другой семьи у Второва не было: вырос в детдоме, а жениться пока не успел. Вот и тянуло его к студентам, любил он их шумные разговоры, по-ребяческие задирственные, без запятых и без пауз. Начинает один, вмешивается другой, третий перебивает... Почему, думал он, не умеем мы разговаривать так же легко и непринужденно где угодно и с кем угодно? Что мешает? Возраст? Задумчивость, приходящая с годами? А эти не задумываются. Разговор возникает, как пулевой обстрел, едва Костя успел принести ведерко с водой из родника в овраге, а Юра достал из рюкзака пластмассовые кружки и полуметровый батон «любительской» колбасы.

— Завтрак на бастионе Сен-Жерве, — говорит Генка.

— А что? Похоже... — подхватывает Юра. — Сергей Петрович, вы у нас, конечно, Атос. Костя — Портос. А Генка, как самый хитрый и вредный, Арамис.

— Стоп! — предупредил Второв ответную Генкину реплику. — Не ссориться!

— Да мы и не ссоримся, — лениво тянет Генка. — Сергей Петрович, скажите честно: что вы о нас думаете?

— В каком смысле?

— Ну, легкомысленные, пустые и тээз. Так?

— Нет, не так.

— Значит, просто воробышки?

— Воробышки, — подтвердил Второв. — Только это не порок. Это проходит, и жаль, что проходит. Вон Игорь вовсю старается показать, что он уже не воробышок...

Иgorь старше однокурсников года на три: пришел в институт после армии.

— Значит, считайте меня капитаном де Тревилем, — смеется он.

Второв оглянулся на пройденный с утра путь. С их «бастионного пригорка» отчетливо виднелся дачный поселок, откуда они тянули ленту. Среди редких бересклетов белели аккуратные шиферные крыши. От дач все к той же речке сползали по отлогому склону квадратики фруктовых садов, разделенные штакетником.

— Капут садочкам, — сказал Генка, перехватив взгляд Второва. — Под бокс обстригут.

Второв поморщился.

— Чем вы недовольны, Сергей Петрович?

— Красоты жалко.

— Красоты? Вот она, красота. — Генка похлопал по второвскому планшету, где лежала карта с нанесенной на нее трассой.

— Не для того сады сажаем, чтобы вырубать их, — сказал Второв. По глазам Кости-Портоса он видел, что парень с ним согласен. Может быть, и ему выбеленные стволы яблонь и вишен казались отнюдь узорчатой строчкой вышивки по зеленому ситцу берега.

— Разве нельзя их сохранить? — спросил он.

— Можно. Во всяком случае, тут — на откосе. Но только сады. Дачи за ними придется снести.

— Ну и что? Владельцам заплатят.

— Стоимость дач. Дорстрою сады не нужны. Не мешают.

— А если другой вариант трассы? — настаивал Костя.

— Где?

Уже то, что вопрос задал всегдаший молчальник Игорь, заставило всех призадуматься. А он продолжал негромко:

— В обход поселка? Там болото. Здесь? — Он кивнул на петлявшую внизу речку. — Одних труб сколько считать придется! Да мост, да овраг, да эта торфяная кастрюля... Подсчитывали, Сергей Петрович?

Второв кивнул:

— Значительно дороже.

— Ну, не знаю, не знаю, — загадочно протянул Генка.

— Чего не знаешь?

— Может, и придется в эту кастрюлю лезть. Навалятся владельцы дачек, пойдут по инстанциям. И плачала наша работенка.

— Чушь городиши, — сказал Костя. — Что они, без понятия, что ли?

— С понятием, — подтвердил Генка. — С бальшим понятием. Вот будет у них собрание с представителями стройорганизаций, они свое понятие и предъявят.

— Не верю, — мотнул головой Костя. — А о садах подумать надо. Как их сохранить?

— Да брось ты свои сады, — обозлился Генка. — Тебе до них какое дело? Мы дорожники. Главное для нас — дорога. А сады — чушь, слони. Чехова читал? Всякие «вишневые сады» обречены исторически.

— Дурак ты, Генка. При чем здесь Чехов? Мы строители. Но разве труд человеческий тебе безразличен? Если наша дорога ломает результаты этого труда, значит, мы должны искать другой, оптимальный вариант.

— Какие результаты? Кому они нужны, эти вишненки-яблоньки?

— Мне нужны. Тебе нужны. Тем, кто по нашей дороге ездить будет.

— Ну и ищи его, оптимальный вариант, а я пас. — Генка встал и, демонстративно собрав кружки, пошел к роднику, а Костя улыбнулся, подмигнул Юре:

— Может, и нашли уже, а, Юрка?

— Не трепись, сорока, — быстро сказал Юра и тоже встал: — Кончай перекур! Пройдем еще пару километров, Сергей Петрович?

Скрытый человек Юра не любил говорить «гоп» раньше срока. Второв догадывался о его «оптимальном варианте», услышал как-то нечаянно его разговор с Костей, порадовался за ребят: доброе дело затеяли, хорошо бы удалось оно. Однако ни вмешиваться не стал, ни помогать им не взялся: пожалуй, впервые студенты столкнулись с проблемой извечной и живучей, и не в книжке столкнулись, не в кино — в жизни. И решать ее надо было им самим, раз уж задела она их. Вот тогда и позвонил мне Второв, позвонил по старой приятельской памяти — заканчивали мы с ним один институт, ту, да только разошлись потом наши пути.

— Приезжай! — кричал он мне в телефонную трубку. — Тебе будет интересно. Может, напишешь кое-что, а нет — не надо.

Он не просил помочь дорожникам, не требовал со страниц журнала метать громы и молнии в адрес дачевладельцев, не желающих замечать, как пишут в газетных передовицах, «уверенную поступь научно-технической революции». За короткую десятиминутку междугородного разговора он лишь успел поведать мне о своих студентах и о предстоящем собрании, где «копы» поломаются, будь уверен».

Я приехал за несколько часов до собрания и успел прокатиться на экспедиционном «газике» по будущей трассе. Увидел и знаменитые сады...

А вечером прямо на берегу речки собрались жильцы поселка: кто на траву уселся, кто принес из дома складные стулья. Пришло человек пятнадцать, не больше. В основном мужчины: седые, бритоголовые, с охряной, задувшей кожей, руки тяжелые, потемневшие от земли. «Пенсионеры, отставники», — шепнул мне Второв. — Сразу и не распознаешь, кто есть кто». Кроме второвских студентов, молодежи не было. Лиши в последние минуты перед началом рядом с мной на ящик из-под оконного стекла уселись девушка, явившаяся явно из любопытства, проняла горсть семечек:

— Угощайтесь.

— А подметать кто будет?

— Глядите-ка, блеститель порядка нашелся! Вы что, из милиции?

— Точно.

— Врете. Я бы вас знала. Небось, дачник? — И не дожидаясь ответа, спросила: — Наверно, никого здесь не знает?

— Никого.

— Вон тот, под елкой который, — Веткин. Пятый год в одном пиджаке ходит, а в прошлом году с одной клубники «Яву» купил.

Ее манера разговора напоминала пистолет-пулемет. Вдох — очередь, выдох — очередь, длинная — короткая. Я невольно улыбнулся.

— Чего смеешься? Правда-правда... А вон та — Салтычиха. Салтыкова Розалия Павловна. — Она кивнула на женщину, сидящую на спине — массивной борцовской спиной, обтянутой желтым вельветовым халатом. — А тот лысый — Жемличка. Рядом с ним без пиджака, видите? Это Лопаткин. А за ними, у дерева, худенький — Скворцов. Все отставники.

— И Веткин?

— Этот нет... Пролез как-то в кооператив...

К берегу подрулил знакомый мне «газик», из него вышли трое мужчин, поздоровались с собравшимися, один из них спросил:

— Начнем, товарищи?

— Раз уж собрались — поговорим, — сказал кто-то.

— Тот, что спросил, — наш председатель, — шепнула мне девушка, — а этих двоих не знают.

— Пусть товарищи инженеры о дороге расскажут! — крикнул Жемличка.

Председатель поднял руку.

— Минутку внимания. Вот передо мной записка геодезистов, нечто вроде справки... о стоимости строительных работ на поселковом и болотном

БИ САД

участках трассы. Кстати, почему обязательно болотном?

— Где же вы думаете обогнать болото? — спросил Второв.

— А излучины реки?

— Значит, мостовой вариант?

— Можно спрямить русло.

— Это тоже подсчитано, — сказал Второв.

— Верно, подсчитано, — председатель по дальнозоркости читал записку на вытянутой руке, — и подсчет толковый. Но чьи интересы защищают авторы записи? Государства? Нет, строительной организации. Только с этой точки зрения и существенная предлагаемая ими экономия. Но что существенное для государства: копеечная экономия или труд людей, заставивших природу служить человеку? Мы создавали сады с сорок седьмого года. Теперь их и Мичурину не стыдно было бы показать! Мне скажут: приходится иногда жертвовать и садами. Но ради чего? Ради того, чтобы спрятать три километра шоссейной ветки. Не слишком ли дорога цена, товарищи?

Раздались аплодисменты. Один из приехавших с председателем наклонился к Второву, что-то сказал. Тот не ответил, даже не расслышав толком его слов: борьба только начиналась, но начиналась круто, с места в карьер.

— Позвольте мне сказать. — Из задних рядов поднялась худая коротко стриженная женщина. — Может, кто-то меня не знает? Я директор школы в Старцеве. К нам приходили мальчики-геодезисты... — Она близоруко сощурилась, посмотрела по сторонам. — Вон они! — указала на Юру и Костю, и все повернулись к ним, рассматривали, хотя и не знали, о чем хочет сказать директорша. — Они дело предлагают. Зачем рубить сады? Их можно объединить в один большой сад на откосе. Там они дороге не помешают.

— А позвольте вас спросить, кто же будет в саду хозяйствничать? — запальчиво выкрикнул Веткин.

— Вот я как раз об этом. Мальчики правильно предлагают: пусть наша школа возьмет шефство над садом. Представляете, какой подарок вы сделаете детям? Можно поставить агротехническое обучение на практике, воспитывать будущих агрономов, селекционеров, мичуринцев. Ведь это даже не мечта, а живая, от вас зависящая возможность...

— Своим, матушка, жертвой, а чужим не разбрасывайся! — грубо крикнула женщина в желтом халате.

Председатель поморщился.

— Хватит, Розалия Павловна, легче...

— Кому хватит, а кому и нет! Мы свое горбом зарабатывали, слезами и потом. Кто скажет, что неправду говорю?

— Я скажу! — выкрикнул Веткин.

— Ты? С ума сошел...

А он даже вырвался вперед, качнулся, будто кто-то подтолкнул его сзади.

— Горбом, говоришь? Чьим только? Чужим, красавица...

— Это домработница, что ли?

— Кроме! Весной у тебя сколько работало?

— А у тебя?

— И у меня, красавица, и у меня! — Он захотел так визгливо и неправдоподобно, что никто даже не улыбнулся.

«Похоже на истерику», — предположил Второв. — Или «под мухой»? Но Веткин говорил трезво и насмешливо:

— Мы с тобой, товарищ Салтыкова, как два карася на одной сковородке. С каждого по способностям — каждому по холке. С изъятием всего благоприобретенного на нетрудовые доходы. Чик-брик и — на сковородку. Спрятнешь? Хреново... — Он пошатнулся.

— Пьян! — взвизгнула Салтычиха. — Почему на собрание пьяных пускаем?

— Шел бы ты домой, Иван Пальч, — раздраженно сказал председатель. — Только людям мешаешь.

— Пог... годы, — запинаясь, сказал Веткин. — Я не мешаю. Я разъясню. Железный закон марксизма: переход личной собственности в частную. Плохо

газеты читаешь, Розалия Павловна, — обернулся он к Салтычихе. — Где изпманы? Где кулаки? То-то... А теперь наш черед. Конечно, мы не хищники, так себе — грызуны. Но в коммунизм нас с тобой не пустят, будь спок.

— Не пустим, — весело подтвердил Юра. Он стоял, весь подавшись вперед, явно порываясь говорить. Костя тянул его за штаны, он отмахивался. — Дайте мне слово, товарищи.

— Вам? — удивился председатель.

— Я не член кооператива, но живу сейчас в этом поселке. Можете не считать меня при голосовании, но сказать разрешите.

— Да никто и не запрещает, — пожал плечами председатель.

Он словно подчеркивал своим холодным дипломатическим равнодушием всю неуместность Юриного выступления...

— Почему никто из вас не откликнулся на слова директора школы? Я слышал, кто-то сказал: не ко времени ее предложение, — начал Юра с неудержимо накипающим гневом. — Вам нужно, оказывается, особое время, чтобы садом пожертвовать. Слово-то какое: по-жерт-во-вать! Не просто сделать доброе дело — детям сад отдать, а пожертвовать. Да вы скорее под топор их пустите, чем задаром с ними расстанетесь. Бросьте, товарищи председатель, не машите рукой. Я только случая ждал, чтобы высказать все это. Вам всем, хотя темно уже, и лиц ваших я не вижу. Жизни у вас нет никакой, кроме ваших огородов да ягодников. Про-по-лоч-ка, — передразнил он кого-то. — В клубе старые дотоптные крутят, самим киномеханикам тошно. Даже спортиплощадки в поселке нет. Хочешь в волейбол играть, тяни сетку поперек улицы. А у вас, простите, один-разговор задушевный: о навозе. На днях иду за водой к колодцу, смотрю: вы собрались. Сидите на бревнышках, разговариваете: какой на-воз лучше — конский или коровий. Кто-то машину конского из цирка пригнал, а кому-то, бедолаге, приходится на выгон ходить, коровы лепешки собираять. Слушал я эту дискуссию и усомнился: неужто это они Берлин брали? Не верю!

— Юра! — предостерегающе позвал Второв.

— Не верю! — упрямо повторил Юра и сел, даже не посмотрев на Второва.

Стало тихо, как на реке перед рассветом. И так же серел туман за кустами, подплывший с оврага.

— С меня довольно. — Председатель поднялся со стула, но неожиданно встал полковник Жемличка, сказал глухо:

— Погоди. Собрание не кончилось. Я парнишке отвечу. Запал у тебя хороши, сынок, а пристрелка неточна. Не веришь, что мы Берлин брали? Брали, удостоверяю. И я и Женя Скворцов — оба в одной армии. А Лопаткина Якова Семеновича как раз на подступах к Берлину ранило: с тех пор на протезе. Так что обвинение неверное, зря обидел. Да что там: скинем его на твою молодость и на полемический задор, как в газетах пишут... Конечно, Берлин не вчера был, успели состариться. Да только от дела не ушли. Вон Скворцов и сейчас лекции в академии читает... А что о навозе говорили, так навоз для нас, садоводов, можно сказать, большая химия. И не паршивые наши сады, сынок. Красота — наши сады. К Лопаткину агрономы учиться ездили, саженцы просят. Вот тебе и навоз... Ты, сынок, запомни: что войну прошел, для кого она — память святая, тот душу за частную собственность не продаст. А тот, кто продал ее, — тут Жемличка рукой вдруг повел: то ли на кого-то указать хотел, то ли просто так, — он либо не воевал, либо и на фронте мародерствовал. И ты прав: таких коммунизм не пустят. А на предложение директорши и мы ушами не хлопали. Если можно сады сохранить, не помешают они дороге на откосе, так пусть школа забирает их...

— Я тебя перебью, Матвей, — сказал кто-то рядом, едва различимый в темноте. — Я лично в дорогу на болоте не верю. Ни с инженерной, ни с финансовой точки зрения тянуть шоссе в низине не имеет смысла. Значит, пойдет дорожка через наш поселок, пинци — не пиши. Да и не стоит плакать из-за

дач, в другом месте построимся. А вот о садах загодя думать надо. И школьный вариант, по-моему, идея. Всех не всех, а многих устроит. Меня лично устраивает. Когда еще дорогу строить начнут, а школа уже осенью сад получит, если мы теперь его передадим ребятам...

Перекличка в сумерках вдруг открывала характер говоривших, стержневое, главное в них, оголяла и здоровое и уродливое — не скрыть в темноте.

— Торопимся, проектируем, — недовольно прогнал председатель. — Непродумано все... твое предложение, Яков Семенович («Так это Лопаткин предложил! — восхитился Второв. — Лучший сад в поселке... Молодец!»), надо на правлении обсудить, подумать.

— Вот ты и думай. А я уже надумал.

— И я тоже, — откликнулся еще кто-то.

— Да и я, пожалуй. — Второв узнал голос Жемлички. — Кто как, а я завтра в школу зайду. А теперь и по домам пора. Наговорились досыта.

Уходили молча, нехотя, словно осталось что-то недосказанное.

Уже перед самым сном я спустился к реке, сел на бревнышко рядом с Юрий и Второвым.

— Не помешал?

— Нет, — сказал Второв. — Мы о собрании говорили. Вот Юра считает, что я рассердился на него.

— Не рассердились, а недовольны.

— Так точнее.

— Я поторопился?

— Не поторопился, а сказал глупость. Гадкую глупость.

— Я знаю. Я потом подошел к Жемличке, прощения попросил.

— А он что?

— Смеется. Знаете, что сказал? «Горячий ты парень. Я бы тебя на фронте первым в атаку пускал: чтобы противника ошеломить...» — Юра засмеялся. — А все-таки здорово я их шарахнул.

— Помнишь, что Жемличка сказал? Пристрелка не точная.

— Я таки попал в кого надо.

— В Веткина, — усмехнулся Второв.

— И в Веткина. Но он не один.

— То-то и оно. За эти сады еще бороться придется. Школа их пока не получила.

— Получит. Жемличка с Лопаткиным — сила!

— А Веткин с Салтычихой? Ты их со счетов не сбрасывай, это тоже сила.

— Неужто вы не верите в победу доброго начала?

Второв хмыкнул в кулак, сказал строго:

— Друг мой, Аркадий, не говори красиво. Откуда цитата?

— Из Островского, — протянул Юра. — Нет, правда, не верите?

— Верю, — успокоил его Второв. — Иди спать.

Потом мы шли с ним по темному берегу реки, спотыкались о какие-то коряги, вдыхали мокрый ночной туман.

— Я не о садах думаю, — говорил он. — Сады своего хозяина найдут, о том Лопаткин с Жемличкой позаботятся. Я о своих ребятах беспокоюсь. Сам посуди: две позиции — Юрина и Генкина. Один, кроме своего дела, ничего знать не хочет. Другой все своим делом считает. Кто прав?

— Глупый вопрос.

— Вопрос-то, может, и глупый, а ответ на него каждый из них по-своему придумывает. И ни того не переубедить, ни другого. Я им как-то сказал, что мальчишки они пока. Ошибся, видно. Не мальчишки — характеры уже вполне сформированы, поломать трудно будет. У них жизнь впереди. До-олга... И таких вишневых садов в ней будет — не сосчитать. Хватит ли у Юры запала его на всю жизнь, а? — И сам себе ответил: — Должно хватить, или я в людях ничего не понимаю. Только трудно ему придется, ох как трудно. Генке-то полегче будет с его равнодушием... — И, помолчав, добавил: — Или потруднее...

Или потруднее, подумал я. Если он сумеет когда-нибудь увидеть, что по сторонам его дороги, им спроектированной, лежит мир. Может быть, как раз тот самый вишневый сад.

БРАЗИЛЬСКАЯ МЕДОУЖ

Перевела с болгарского
Евгения СТАРОДУБ

Он замолкает, ожидая, вероятно, что с моей стороны последует горячая похвала, но я молчу. Если наглость таких типов вызывает досаду, то их лицемерная кротость просто отвратительна.

Аплодисментов не последовало, и Спас вынужден продолжать:

— Вся история очень глупая... Короче, у меня есть девушка, не из нашей компании, знакомая по университету. Родители ее уехали. В квартире она одна. Мы договорились собраться у нее, она и ее друзья. И вот, как было условлено, я купил две бутылки ракии и зашел к ней. Но мы с ней поссорились...

Влаев замолкает, чтобы перевести дух или оценить произведенный эффект. Но я сижу с тем же безразличным видом.

— Когда я немного выпью, на меня находит меланхолия. Я подумал, что поступил грубо, и вылез в окошко — мне захотелось увидеть эту девушку. Пошел к ней и пробыл там до глубокой ночи. Мне не хотелось вмешивать в эту историю мою знакомую, боялся, как бы не узнали ее родители...

Спас замолкает, теперь уже окончательно, продолжая упорно разглядывать свои руки.

— Ваш рассказ проясняет обстоятельства с покупкой ракии и исчезновением через окно, — замечаю я все так же равнодушно. — Но дело в том, что не всякое ваше объяснение соответствует истине. Надеюсь, в данном случае соответствует.

— Это сама правда! — произносит убежденно Спас.

— Тем лучше. Имя девушки?

— Это необходимо? — спрашивает он умоляюще.

— А как же?

— Антоанета Савова.

— Улица? Номер дома?

Со вздохом он сообщает и адрес.

Смотрю, как он из кожи лезет, чтобы казаться раскаявшимся, и думаю кое о чем, что, возможно, прямо не связано со следствием.

— Прошлый раз вы высказали неприязнь к своему отцу...

— Ненавижу его! И никогда этого не скрывал.

Голос Влаева обретает свойственную ему агрессивность.

— На чем основана эта ненависть?

— Как «на чем»? На том, что он оставил меня.

Против этого возражать трудно. И все же я говорю:

— Может быть, у него были причины для отъезда?

— Причины всегда найдутся. Только у него самого был отец, а у меня нет. Отец воспитал его и оставил ему в Австрии большое наследство. Из этих денег могло бы и мне кое-что перепасть. Я бы не жил с этой истеричной женщиной, моей матерью. Да она истеричкой-то стала из-за его подлости!

— А как исчез ваш отец?

— Ему разрешили поехать за наследством, а вернуться он забыл... Мне тогда было десять лет...

— Вы считаете, что он вам испортил жизнь?

— Не только мне, но и матери...

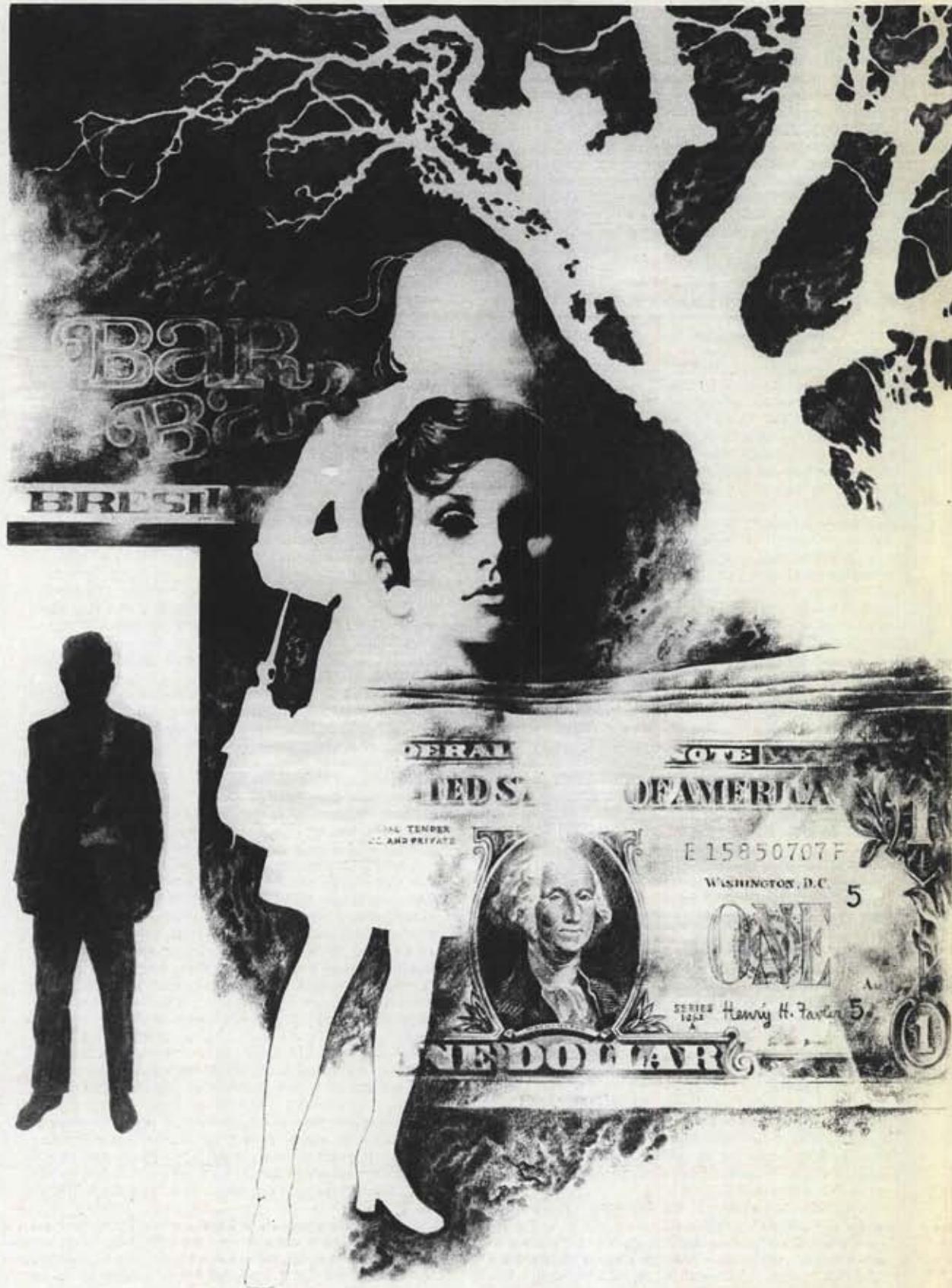
Задаю еще два-три дежурных вопроса. «Трагедия человека-бицепса: отец убежал вместо того, чтобы купить ему спортивный «фиат»», — размышляю я.

Спортивный «фиат» — это сокровенная мечта такого типа людей. Мы были скромнее. Толпились у квартальной лавочки, где давали напрокат велосипеды, и терпеливо ждали очереди, чтобы за пять левов получить ольянющее удовольствие — покататься полчаса на разбитой машине.

Впрочем, у меня с моим другом Стефчо и этой возможности не было. Пять левов — где их взять? Поэтому мы стояли в сторонке, словно бы безучастно наблюдая за счастливчиками. Но у нас все же теплилась надежда: вдруг появится наш сосед и покровитель Киро и покатаст нас — сперва одного, потом другого, усадив на раму велосипеда. Эта операция считалась запретной. Хозяин лавочки боялся, как бы не полнули шины. Поэтому мы ждали Киро за углом...

А теперь — спортивные «фиаты».

Но оставим современную технику и займемся историей с Антоанетой. Эта история подпирает два слабых пункта в алиби Спаса: причину покупки ракии и его ночное путеше-



стие. С другой стороны, он непременно все это выложил бы в критический момент нашей первой беседы. Ведь он отлично понимал, что ему угрожает, и не стал бы скрывать обеляющие его подробности. Но тогда этих подробностей просто не существовало — они еще не были ком-то придуманы и вбиты в голову Спаса...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Уже шесть, и Дора пора здесь быть. Но разве когда-нибудь женщины бывают точными! Они становятся взыскательно точными лишь в том возрасте, когда это уже не столь важно для окружающих. И все же Дора должна была прийти вовремя, хотя бы из благодарности, что я устроил встречу так ловко, что Марин ни о чем не догадается.

Три дня канцелярского затишья — случай исключительный в моей служебной практике. Встаю, чтобы немного размяться, смотрю в окно — живут же люди! Живут себе нормально, выходят из магазинов, разглядывают витрины, куда-то спешат. Их рабочий день кончился, они снова превратились в пап и мам, в жен и мужей...

Счастлив тот, кто работает только с разными «входящими» и «исходящими». Вложишь в папку бумаги — и забудешь о них до завтрашнего дня. А я имею дело с людьми. И если даже мы расстаемся, они еще долго живут рядом со мной. «Хватит, идите своей дорогой, — ворчу я мысленно. — Разве вы не видите, что следствие окончено?» Но они отступают в сторону только тогда, когда их вытесняют новые дела и новые «подследственные».

Убираю со стола все бумаги, выхожу на улицу — и вижу Дору.

— Кое-как удалось вырваться от Марина, — сообщает она вместо извинения.

— А от его брата как удалось вырваться?

Глаза женщины стреляют неприязнью.

— Вы за мной следили!

— Нет, случайное совпадение.

— Знаю я ваши совпадения!

— Давайте не будем здесь соорваться, на виду у всех.

Молча переходим мост и сворачиваем на аллею, которая тянется вдоль канала. Еще светло, но небо уже остыло, и фасады на другой стороне канала тонут в прозрачной тени.

— Так мы говорили о вашей встрече с Филиппом...

— Мы увиделись случайно.

— Вряд ли: он вам звонил.

— Значит, за них тоже следили?

— Это — наше дело, а меня сейчас интересует ваше.

— Звонил, это правда. Встретились на Орловом мосту.

— О чём вы говорили?

— Вон как вы за меня ухватились, — вполголоса, но довольно нервно произносит Дора. — Не вижу ничего плохого в том, что повидалась со старым другом.

— Плохо только, что вы не знаете точно, кто ваши друзья.

— У меня их не так много, чтобы не знать.

— И Филип среди самых верных?

— Этого я не говорила. Друг в самом обычном смысле слова.

— Однако во время нашего прошлого разговора, насколько я помню, вы выразили к вашему другу довольно искреннюю неприязнь.

— И здесь вы не точны. Презираю его, ничего больше.

— И это не мешает вам принять его приглашение и встретиться...

— Он ждет от меня небольшой услуги.

— А что это за услуга, в которой нуждается Филип?

— Денежная.

— И вы помогли?

— Нет. У меня нет возможности.

— Ясно.

Продолжаем идти по аллее вдоль канала, и она вдруг спрашивает:

— Есть у вас еще что-нибудь?

— Наверное, я отнимаю у вас время?

— Можно и так сказать.

— Но вы у меня сегодня уже отняли около часа, пока я вас ждал. Так что по крайней мере этот час вы должны мне вернуть.

— О, не беспокойтесь. Я только спросила.

Мы входим в сквер, где стоят несколько скамеек.

— Давайте посидим немного. Я просто валюсь от усталости.

— Посидим, — соглашаюсь я. — Тем более здесь, среди природы.

А природа, между нами говоря, довольно жалкая — с этим зацементированным каналом и редкой, общепланной травой. Но ведь мы забрели сюда не ради любовных объяснений. Садимся. Я произношу скучнейшим тоном:

— Прошлый раз вы заметили, что такие, как я, отравлены недоверием. Однако если мы отравлены им частично, то вы, извините, полностью.

— Возможно...

— И вам это помогает жить?

— Да, хотя бы избежать удара по лицу.

— Однако у меня такое впечатление, что, пока вы бережете лицо, вам грозит удар в спину.

Дора смотрит на меня, пытаясь понять, что я этим хочу сказать, но молчит. Я тоже некоторое время молчу, сосредоточенно затягиваясь сигаретой. Потом небрежно спрашиваю:

— Вы действительно считаете, что чем-то обязаны Филипу?

— Как же иначе? Сколько житейских уроков он мне дал!

— Может, передадите и мне крупицу этого опыта?

— Конечно! Но лучше вам обратиться прямо к нему. Доставите ему удовольствие.

— Не знаю, сколько он заломит...

Свои уроки он дает абсолютно бесплатно. Ему достаточно чувствовать себя благодетелем и наставником поддающего поколения. Если, скажем, Монью появился небртым или Спас выкинул хулиганский номер, Филип покачает головой и скажет с состраданием: «Не так, дети мои. Самый верный способ жить непорядочно — это иметь порядочный вид. Будь как угодно грязным, но не веди себя грязно, а то попадешь на заметку...»

— Теперь понимаю, чем вы ему обязаны, — говорю я.

Лицо ее вспыхивает, как от пощечины. Потом вновь становится безразличным.

— Оставьте вашу мнительность, — замечаю я, разозлившись больше на себя, чем на нее. — Мысль моя вполне ясна: чем еще вас может держать Филип?

Она не отвечает.

— Шантажом?

Снова молчание.

— Шантажом? — переспрашиваю я. — Отвечайте же!

Дора хочет что-то сказать, но лишь кивает.

— Чем он вас шантажирует? Вашим прошлым?

Дора кивает снова. Она, похоже, вот-вот расплачется, но, как я уже отмечал, такие упорные натуры редко проливают слезы.

— Э, прошлое ваше, конечно, не розовое, но это уже перевернутая страница. Если человек вас любит, он должен нас понять.

— Понять? — спрашивает почти беззвучно Дора. — Понять что? То, что я и сама не понимаю?

— Такое бывает, — говорю я успокаивающе. — Вашу короткую биографию можно разделить на три периода, которые резко отличаются друг от друга. И если между вторым и третьим еще есть известный переход, при этом весьма обнадеживающий, то между первым и вторым...

— Лежит пропаст?

— Именно.

— Что тогда произошло? Случайно поскользнулись?

— Нет, попытка самоубийства...

Она не говорит ничего лишнего, как не говорила ничего лишнего и во время предыдущих допросов, протоколы которых я просматривал накануне.

Смеркается. Небо над крышами еще светлое, но над нами уже темно-синее, и на нем вспыхивают большие одиночные звезды. Вдалеке зажглись фонари моста. По листьям деревьев пробегает вечерний ветерок.

— Не буду больше вас расспрашивать. Это ваша личная история. Всякие бывают несчастья. Бросит любимый человек или нечто подобное...

— А меня предал родной отец...

Ох, уж эти отцы! И Дора, как Спас, ищет оправдания «по отцовской линии».

— Уехал или выгнал?

— Просто предпочел меня другой...

— А мама? — спрашиваю, хотя ответ мне уже известен.

— Мама умерла, когда мне было тринадцать лет. Правда, я не переживала эту потерю слишком тяжело. Я любила маму, но без особой... теплоты. Она была человеком настроения, чаще всего раздраженная или строгая, всегда нас с отцом поучала. Конечно, она заботилась о нас, но ей, наверное, даже в голову не приходило, что человек может завыт от такой заботы.

Дора рассеянно смотрит в сторону моста, по привычке сопровождая рассказ короткими и резкими движениями руки. Потом вдруг спрашивает:

— Разве мы сидим здесь, чтобы я рассказывала вам все это?

— Мне кажется, вы не многим поведали о своей жизни.

— Никому...

— Тогда хоть один раз кому-то нужно рассказать. Бывает, поделившись с человеком — и пережитое самому становится яснее.

Она откладывается на спинку скамьи и умолкает. У меня, признаюсь, не было намерения толкать ее к душевным излияниям. Я сочувствовал ей, но это сочувствие — мое частное дело, а шеф поручил мне дело куда более важное и сложное. И пусть вам это покажется узким практицизмом, но сейчас для меня важнее не Дорина драма, а ее доверие, без которого чертовски трудно выполнить мою задачу.

— Значит, вы не очень тяжело пережили смерть матери? — спрашиваю я только для того, чтобы напомнить о себе женщине, которая вдруг разговорилась.

— Не слишком тяжело. Конечно, я и отец любили ее, но ведь я вам уже сказала... После смерти мамы мне пришлось взять на себя все домашнее хозяйство. И хотя эти дела отнимали много времени, я делала их с удовольствием, потому что старалась для отца. Эти годы были самыми счастливыми в моей жизни...

Дора достает из сумочки сигареты и закуривает.

— Отец мой — человек тихий и спокойный, характер у него такой. Работает он в торговле. По пути домой он все покупал, а потом шел с приятелями в ресторан выпить рюмку ракии — только одну рюмку — и возвращался, читал газеты или слушал радио. Однажды ко мне зашли две подружки из нашего дома, и одна сказала: «Завидую тебе, Дора, у тебя

такой отец!» А другая: «Вот женится, тогда посмотрим...» Мне и в голову не приходила такая мысль, и помню, только отец вернулся, я сразу спросила: «Папа, неужели ты женишься во второй раз?» Он засмеялся: «Для чего мне жениться, если у меня дома есть хозяйка?» А я настаивала: «Тогда обещай, что никогда не женишься». А он: «Что с тобой сегодня, моя девочка? Хорошо, успокойся, обещаю...»

Она замолкает, охваченная воспоминаниями, и забывает о зажженной сигарете. Уже второй раз я отмечаю у нее эту привычку, но молчу, боясь ей помешать.

— Отец был верен слову, пока я училась в школе. Но перед выпускными экзаменами стал все чаще где-то задерживаться, уходил из дома по воскресеньям. О причинах я догадывалась, но говорила себе: «Пусть лучше так, чем чужая женщина в доме». Только он все равно привел ее. Для меня это был настоящий удар. Я не стала напоминать ему об обещании. Попыталась приспособиться к новой жизни, но ничего не получалось. Эта Елена характером напоминала мою мать, только она не была мне матерью. Вообразила, что ее задача — заняться перевоспитанием заброшенного ребенка! Она была старше меня на восемь лет, постоянно делала мне замечания, я огрызалась. Стала все чаще уходить из дома, возвращалась поздно. Выдержала приемные экзамены. Из-за пяти левов...

— Пять левов?

— Да, из-за пяти левов, которые я будто бы украдла, но я их не брала. Елена потом сама вспомнила, что отдала их за мытые лестницы. Но не будь этих пяти левов, нашелась бы еще какой-нибудь пустяк, ведь важен был повод! Когда пришел отец, я сказала, что не могу больше оставаться в доме, где меня считают воровкой. Он, по своему обыкновению, пытался нас примирить, но с меня было довольно. Я схватила плащ, выскочила вон и уже больше туда не возвращалась...

Дора зябко пожимает плечами и смотрит на меня:

— Пошли? А то прохладно становится.

Встаем и снова идем по аллее вдоль канала под слабым светом редких фонарей.

— Пер первую ночь спала у подружки, вторую — у другой. И так несколько ночей подряд, пока не обошла всех своих приятельниц. Денег у меня не было, но и не было желания возвращаться домой. Пусть лучше, думала я, меня разрежут на кусочки!.. Еще когда я жила дома, познакомилась с одной компанией, там была Магда. Я почувствовала, что она может мне помочь.

— Хм, — произнес я с сомнением.

— Так я думала тогда. А потом поняла, как и чем Магда живет, и если я хочу у нее оставаться, должна вести себя так же. Я убеждала себя, что это тоже способ рассчитаться с жизнью, если не хватило смелости покончить с собой... Бывали и приятные часы опьянения, когда я говорила себе: «Нечего дергаться, это и есть жизнь». Бывали и другие часы, отвратительные и унизительные. Тогда я говорила себе: «Ничего, пусть он посмотрит, до чего довел свою dochь...»

— Отец знал, как вы живете?

— Узнал, когда к нему пришли ваши люди. Явился к Магде, уговаривал меня вернуться, обещал, что все образуется. Но я сказала: «Или она, или я!» Он молялся, и тогда я заявила: «Уходи и больше не изображай, что заботишься обо мне!» Вообще дошла до полного отчаяния и просто ждала развязки. Но тут появился Филипп...

«Счастливое появление», — замечаю я про себя. — Наконец-то можно перекинуть мостик к моей теме.

— Да, — говорю я. — К сожалению, Филипп все еще продолжает появляться...

Дора не отвечает.

— Если вы станете меня убеждать, что он довольствовался мелкими денежными услугами...

— Он не настолько пал, — отвечает Дора. — И если я правильно поняла ваш интерес к Филиппу, мне кажется, вы ошибаетесь. Он позер, циник, комбинатор и что угодно, но он достаточно умен, чтобы не сделать нечто совсем... ненормальное.

— Хитрость и сообразительность еще не признаки человеческой нормальности, — возражаю я. — Но это уже другой вопрос. Сейчас речь идет о цене шантажа.

— Мелкие услуги, но, теперь признаюсь, не денежные.

— Например?

— Первый раз просил дать ему на день-два паспорт Марина, заграничный паспорт, чтобы купить что-то в магазине «Балкантурист». Я, разумеется, отказалась, тогда он стал угрожать... Пришлось отступить. Филипп вернул паспорт на другой же день.

— Когда это было?

— Точно не помню. Во всяком случае, перед Новым годом — Филипп говорил, что хочет купить новогодний подарок для своей приятельницы.

— А второй раз?

— Мы тогда встретились возле университета. Он только спросил, когда Марин уезжает в Тунис — там Марин что-то строит. Я сказала: «Не знаю». Тогда он попросил сообщить ему письмом, как только это выяснится. Я спросила, почему это его интересует. Он ответил, будто хотел попросить Марина привезти ему одну нужную вещь — накануне самого отъезда, чтобы тот не забыл. Я ему ответила: «Как же ты ему скажешь, ведь вы в ссоре?» — а Филипп: «Это мое дело». Он дал мне понять, что, если я не уведомлю его, он расскажет обо всем Марину.

— А сегодня?

— Снова о том же. Узнал, что Марин должен уезжать

через три дня, и спросил, когда он точно улетает и почему я не сообщила, как договорились. Я сказала, что забыла. «А что произойдет, если я забуду свои обещания?» — И снова стал мне угрожать.

— Вы сказали, когда точно улетает Марин?

— Да. Не нужно было?

— Я только спрашиваю.

— Сказала. Ведь если бы он обратился к Марине, тот тоже не стал бы этого скрывать.

Дора рассуждала вполне логично, если опустить одну маленькую деталь: все-таки Филип не стал обращаться к Марине. Почему?

— Хорошо, — говорю я, хотя и не вижу на горизонте ничего хорошего. — По-моему, лучше рискнуть: расскажите Марине о том, что считаете нужным, и вам станет легче. Иначе Филип или кто-нибудь другой из его компаний будут вас вечно шантажировать, повышая цену по своему усмотрению. И потом, нельзя строить будущее на поправке...

— Вы думаете, отношения всегда строятся на чистой правде?

В ее голосе звучат насмешка и горечь.

— Ну, если вы хотите, чтобы и ваши отношения...

— Но, поймите, он такой старомодный... Я хочу сказать, непримиримый в каких-то вещах. Слышу, как он говорит: «Своим признанием ты нанесла мне удар», — и отворачивается...

— А дальше?

— Он уйдет навсегда, понимаете? Ведь я вам говорила: он единственный барьер, который отделяет меня от прошлого, от всей этой грязи. Потому что Магда еще ждет меня... там, на чердаке. Он часто снится мне, этот чердак...

Не вижу лица женщины, которая идет рядом, но не надо и видеть его, чтобы понять: гроза наконец разразилась. Дора плачет, молча глотая слезы, злясь и на жизнь и на себя из-за того, что не сумела сдержаться.

— Вы понимаете, что говорите? — спрашивала я, останавливаясь и заглядывая ей в лицо. — Почему, потеряв чью-то поддержку, вы должны рухнуть? Раньше — отец, теперь — Марин... Вы не фарфоровая куколка, которую надо держать в ладонях, чтобы она не разбилась. Какой чердак и какие сны? Если хотите стать человеком, проявите собственную самостоятельность. Разве вы не представляете НЕЧТО сама по себе? Вы учите, получаете стипендию. Скоро закончите университет, получите работу... О каких чердаках может быть речь?

Дора смотрит на меня, оторопев не столько от моих слов, сколько от моего раздраженного тона. Впрочем, я спешу этот тон сменить.

— Это лишь мой дружеский совет, — говорю я возможно мягче. — Может быть, не следует спешить с этим разговором. Выберите для объяснения с Мариной удобное время и подходящую форму... Словом, подумайте сами. Хотя, по-моему, если он не в состоянии понять вас, понять, что вы человек порядочный, значит, он вас просто не стоит.

Дора снова начинает глотать слезы, и я прохожу вперед, чтобы не стеснять ее. Мыходим до конца улицы Раковского, куда, собственно, не нужно ни ехать, ни идти.

— Давайте я провожу вас еще немного, только вытрите слезы, — говорю я. — И обещайте, если узнаете что-либо новое о Филипе и его компании, сразу мне позвоните.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Знаю, что наша история распутывается удручающе медленно и плюс ко всему — на довольно унылом фоне. Нет таинственных, зловещих окраин большого города — пустых депо и железнодорожных складов, немыющих во мраке ночи. Нет и глубоких погребов, где все еще стоит запах домашних солений. Нет даже бара «Астория», без которого, как известно, не обходится ни один заграничный детектив.

Я бы тоже не прочь заглянуть в бар! Но что поделаешь, если именно сейчас люди, за которыми я наблюдала, вдруг превратились в домоседов. А бар, что и говорить, таит богатые возможности для драматических ситуаций. Поставишь перед героиней фатальный вопрос: «Кто убил Асенова?» — а оркестр как раз грянет какой-нибудь танец. Контраст потрясающий!

Но пора возвращаться к действительности.

Итак, элегантный и воспитанный человек по имени Филип Манев продолжает перебегать Доре дорогу. А заодно и мне. Доллары, комбинация с паспортом, новогодние подарки...

Пока жду необходимые справки, мысли мои перекидываются на Марина. Возможно, Дора и права: откроешь ему душу, а он, кроткий и серьезный, вместо того, чтобы посочувствовать тебе, выгонит на улицу.

Тем более у Марина есть для этого некоторые основания. Прошлое — это прошлое, оно упрямо как факт. Факты же всегда оставляют свои зарубки на сердце. Получается что-то вроде порока сердца, только компенсированного. Но если компенсированного, значит, Дора выживет. Иные люди с компенсированным пороком живут даже дольше здоровых, потому что больше заботятся о себе.

Ничего удивительного, если Марин не простит Доре ее прошлого. Не все такие, как моя учительница, которая смирилась со всей моей жизнью. И даже пытается тактично скрывать, что порой мои рассказы приводят ее в ужас.

К примеру, зайдем в ресторан посидеть после моих долгих скитаний по провинции. Я весь под впечатлением случившегося:

— Понимаешь, отравление... Грубая работа! Уж лучше бы

дать снотворное и инцидентировать самоотравление. И представляешь? Пять дней ее никто не хватился...

Моя учительница прекращает жевать и отворачивается.

— Извини, — бормочу я. — Ты же знаешь, мы, болгары, когда отдыхаем, любим поговорить о работе...

— Ох, уж эта твоя работа, Петре! — отвечает вполголоса учительница с неким подобием улыбки и пытается переменить тему разговора. — Книгу, что я дала, ты уже прочитал?

— Нет еще... Но ты права: книжка великолепная. С первых страниц видно.

— Ты все еще топчешься на первых страницах?

— Не помню, на чем остановился, но при моей вечной занятости, сама понимаешь...

— Но книги днем не читаю. Для этого есть вечера и ночи. Вечера и ночи! Она не знает, что в эти вечера и ночи я делаю то же, что и днем: ломаю голову, как развязать какой-нибудь узел или разобраться в путанице противоречивых данных...

В эту минуту раздается телефонный звонок, напоминающий, что я нахожусь не дома, а на своем рабочем месте.

— Слушаю. Так ли? Ах, значит, тот? Хорошо, пришлите мне справку.

После таких вроде бы ничего не значащих слов, из которых часто состоят телефонные разговоры, я снова склоняюсь над столом. В кабинет входит лейтенант:

— Вас хочет видеть женщина.

— Уж не снова ли та, журналистка?

— Нет, какая-то Колева или Кoeva...

Это, само собой, наша Магда. Она смущенно останавливается у двери, словно впервые входит в подобное учреждение и не знает, каковы здесь порядки.

— Здравствуйте, — киваю я. — Что случилось?

— Ничего не случилось, — говорит Магда, садясь на предложенный стул. — Просто вот решила зайти.

— Очень хорошо. Вы, я слышал, перестали бывать в «Бразилии»? Это случайность?..

— Как случайность! Прошлый раз вы меня так отчитали!

— Неужели? А я уже забыл. Что подделывают ваши приятели?

— Не хочу и знать их.

— Вы их больше не видели?

Магда смотрит немного озадаченно и ерзает на стуле.

— Ведь я же вам сказала: знать их не желаю.

— Это вы сказали. Но я вас спрашиваю о другом: видели вы кого-нибудь из компании или нет?

Она тут же принимает позу оскорблённой невинности, и тогда я добавляю:

— Не торопитесь говорить неправду. Подумайте и отвечайте точно!

— Понимаете... Филип заявил вскоре после того, как вы ушли. Стал расспрашивать, о чем мы говорили, и я ему рассказала.

— Что вы ему рассказали?

— О чем вы меня предупреждали, я рассказывать не стала...

— Магда!

Она смотрит на меня и виновато опускает глаза.

— А что делать! Если я такая... Невозможно ничего от него скрыть. Слово за словом он все из меня вытянул.

— Хорошо, что хотя бы признались мне. А как Манев реагировал на ваш рассказ?

— Никак. Даже не рассердился. Правда, предупредил, если меня вызовут, в подробности не вдаваться.

— У вас есть еще что-нибудь?

— Это уже касается меня лично. Помните, вы обещали оказать содействие. Так вот, я узнала, что в новом ресторане есть место...

— Хорошо. Попытаемся вам помочь. Но при одном условии: ведите себя образцово.

— Об этом не беспокойтесь.

— В ресторанах бывают иностранцы...

— Умираю по иностранцам! Скажу вам больше, хотя можете мне и не верить. Вчера встречает меня у «Риль» господин Кнаус...

— Приятель Филипа?

— Именно. И самым галантным образом приглашает победить. И что, по-вашему, я сделала?

— Не могу представить.

— Начисто отказалась! Верите?

— Почему же нет! Вы становитесь серьезной девушкой. Магда хочет встать, но ее останавливаю:

— Одну минутку! А Филип интересовался, шла ли у нас речь об одной вещи?

— Какой именно?

— О снотворном.

Магда снова пытается изобразить непонимание, но я предупреждаю:

— Не забывайте, пожалуйста, о чем мы условились.

— И о снотворном расспрашивал...

— Скажите, какие инструкции вы получили от Филипа в тот вечер и как их выполнили.

— Он сказал, что позвонит Асенову. Как только тот отойдет к телефону, я должна незаметно всыпать немногого снотворного в свою рюмку, потом подменить ее на рюмку Асенова. А когда он вернется, предложить какой-нибудь тост. Филип все обдумал до мельчайших подробностей. Просто зависеть берет, до чего он умный.

— Не торопитесь ему завидовать. И вы точно все исполнили?

— Да. Только снотворного дала меньше.

— А для чего вообще нужен был весь этот номер?

— Как для чего? Усмирить Асенова. Филип решил показать, что он за меня держится, и вызвать у Асенова ревность. Тогда бы он поторопился с нашей свадьбой. А чтобы не получилось скандала, говорил Филип, дай ему немногого успокоительного...

— Пожалуй, на сегодня довольно. А вы умница!

— Об этом не беспокойтесь! — снова повторяет Магда.

Она прощается и несет к дверям свое пышное тело, а вместе с ним — и приподнятое настроение, не забыв с порога послать мне ободряющую улыбку, ибо, на ее взгляд, если кто-то из нас двоих и нуждается в ободрении, так это я.

Смеркается, когда я поднимусь по высокой лестнице на уютную мансарду гражданина Личева. Звоню, но вместо звонка слышу звуки старинной мелодии. В эту минуту дверь открывается, и из нее высывается улыбающееся лицо хозяина. Истинно ради следует отметить, что при виде меня улыбка на его лице быстро тает.

— Вы соединили радио со звонком? — спрашиваю я, чтобы дать хозяину время прийти в себя.

— Нет... Но и это мое изобретение, — мяллит Личев.

— Что, разве мы не войдем? — снова спрашиваю я, ибо хозяин загородил дверь, видимо, намереваясь объясняться со мной на лестнице.

— Конечно, проходите, — неохотно уступает дорогу старик. — Конечно, проходите, — Я знаете, жду гостей.

— А я не собираюсь вас долго задерживать.

Обстановка такая же, как и шесть дней назад. На столе сандвичи и сухие пирожные. Негусто. Хотя... подождите! Хозяин, похоже, больше позабылся о пище духовной: у стены, покрытой листьями вышегося растения, стоит роскошный телевизор. Диктор, уткнувшись в листы бумаги, читает новости.

— Это тоже ваше изобретение?

— Нет, конечно.

— И все же модель превосходная. Наверное, из валютного магазина?

Хозяин не торопится изобразить, что польщен моим комплиментом.

— У вас, если не ошибаюсь, весьма скромная пенсия? — говорю я, расплываясь в том же самом удобном кресле.

— Весьма скромная, — подтверждает Личев. — Но и требования мои невелики. Сами знаете, старый человек. Одним словом, у меня есть некоторые сбережения.

— В долларах или иной валюте?

— Скажете тоже — «в долларах»! У меня нет американского дядюшки.

— Не изучал, к сожалению, вашу родословную. Но этот телевизор явно куплен на доллары. Могу даже называть точную дату покупки. И имя человека, который вас сопровождал.

— Если вам известна вся эта история, зачем меня спрашиваете?

— Я спрашиваю вас о предыстории: как вышло, что Асенов раскошелся на целый телевизор?

— А я вам еще в прошлый раз говорил: моя бывшая жена должна мне некоторую сумму денег, и поскольку она договорилась с Асеновым часть квартиры получать в долларах...

— Прошлый раз вы не говорили, а отреагировали от этого.

— Но ведь...

— Минутку! Хочу обратить ваше внимание, что плата Асенова за квартиру не была так велика, чтобы на эти деньги купить телевизор.

— Но именно это я и собираюсь вам объяснить: со стороны Асенова это был аванс. Так сказать, услуга за услугу.

— За какую услугу?

— Я вам уже рассказывал. — Старик конфузливо смолкает. — Помните, я собирал для него некоторые сведения о девице, на которой он думал жениться.

— А, запамятовал... В таком случае сделка была вполне почтенной.

Личев молчит, глядя на меня краешком глаза, и, видимо, прикидывает, что я собираюсь делать дальше.

— Телевизор, Личев, не единственная ваша сделка. Вы и раньше получали от Асенова валюту... В данный момент какая часть ваших сбережений в долларах? И где вы их храните?

— Не понимаю, на что вы намекаете.

— Не намекаю, а говорю прямо. И чтобы покончить с этим, скажу, что у покойного Асенова была в бумажнике значительная сумма долларов. Осмотрев квартиру, мы этих денег не обнаружили.

Лицо старика, и без того не слишком румяное, становится совсем землистым.

— Вы удивляете меня таким подозрением! Это просто ужасно...

— Но поступок еще ужаснее.

— Но как вы можете допускать, что я совершил убийство?

— Мы говорим не об убийстве. Речь идет о долларах.

— У меня нет никаких долларов, уверяю вас.

— Никаких? Ни одной бумажки?

— В сущности, есть одна. Храню на счастье. Она тоже из аванса.

— Покажите, если можно, этот аванс.

Старик встает и идет на кухню. Слышится шум передвигающейся мебели, потом хозяин появляется снова, держа двумя пальцами стодолларовую купюру.

— Как вы получили эти деньги?

— Лично от Асенова.

— В присутствии вашей жены?
— Нет. Он давал мне без свидетелей.
— Где и когда?
— Сразу после покупки телевизора. Асенов обещал мне 300 долларов, а поскольку телевизор стоил 200...
— Проверим,— говорю я, забирая банкнот.— Вас пригласят в соответствующее учреждение.

— Но, товарищ инспектор... К чему нам это «соответствующее учреждение»? Забирайте доллары, если они нужны для следствия, и не будем больше никого вмешивать... Я старый человек...

— А я не взяточник.

В этот момент из коридора доносятся звуки стариинного мотива. Ничего общего с бразильской самбой. И все же обе мелодии сопутствуют довольно грязным делам.

— Ваши гости?— Я встаю.

— Но подождите! Неужели вам необходимо передавать доллары еще куда-то?

— Очень даже необходимо. Пойдемте, а то гости разнесут дерево.

Сейчас они нужны Линеву, как прошлогодний снег, но я направляюсь к выходу, и старик вынужден идти за мной...

Итак, доллары. Еще одно открытие. Горизонт, как говорит мой шеф, продолжает проясняться. Однако еще не нашупана связь между людьми из моего круга и комнатой на пятом этаже. А мы уже на закате восьмого дня. Западные радиостанции кричат еще громче. А преданный вам Петр Антонов в основном пока карабкается по лестницам и размышляет. Столларовая бумага? Одна-единственная, причем ее действительно могли передать с глазу на глаз, и посему вряд ли она может сыграть роль связующего звена. Денежные знаки, как таковые, не по моей части. Есть для этого валютные магазины и определенные учреждения, где заняты несколько иным, чем продажей телевизоров.

За восьмым днем, естественно, приходит девятый. Шеф все еще меня не вызывает. Полковник—человек терпеливый. Он считает, наверное, что, побеседовав со мной дважды, с третьей встречей можно не спешить. Однако человеческое терпение не бесконечно, и я предчувствую, что мое начальство не исключение из правил.

Упоминаю об этом только затем, чтобы дать некоторое представление о настроении, с каким я приступаю к работе на девятый день следствия. Первый звонок раздается около десяти утра, и разговор следует весьма неутешительный. Дора сообщает, что с Марином все кончено.

— Значит, вы все-таки решились ему рассказать?

— Ничего я ему не рассказывала,— звучит в трубке все тот же тусклый голос.— Филип постарался...

— Когда это произошло?

— Вчера вечером. Марин вернулся поздно, я даже не слышала. Зато сегодня утром все поняла. Филип рассказал, да еще в самых гадких выражениях.

— Но вам надо объясниться с Марином!

— Не желаю ничего объяснять, и вообще у меня нет больше сил!

— Не говорите глупости. Где вы сейчас?

— На Орловом мосту.

— Куда идете?

— К Мардзе, куда же еще? Там меня ждут...

— Слушайте,— говорю.— Идите к Мардзе и ждите, пока я... в общем, пока кто-нибудь вас не разыщет. Поняли? Она что-то машинально отвечает и вешает трубку.

Сейчас мне только этого недоставало: улаживать личные конфликты. Впрочем, и мои дела, и чужие, и служебные—все не касается. Хорошо еще, что в данном случае частные интересы каким-то боком связаны со служебными. Интересно знать, зачем Филип так поступил? Наказать Дору? Вряд ли он ради этого стал бы рубить сук, на котором так удобно сидел.

Я чувствую, настал час прервать мои изыскания и навестить Марина.

Архитектор открывает дверь, на ходу что-то дожевывая. Есть люди, у которых плохое настроение вызывает повышенный аппетит, и, похоже, Марин принадлежит к их числу.

— Извините, я как раз завтракаю,— говорит Марин.

— На минутку.

Он приглашает меня на кухню. На столе пара тарелок с колбасой и брынзой.

— Почему так, по-холостяцки?— прикидываюсь я дурачком.

Марин молча изображает недоумение.

— Невеста куда-то отлучилась?

— Надеюсь, вы пришли по служебным делам,— говорит хозяин, садясь за стол. Решив соблюсти закон гостеприимства, он добавляет:— Пожалуйста, присаживайтесь! Вместе закусим.

— Благодарю.

— Чашку кофе? Только что сварил.

Он снимает с плитки кофейник и наливает мне нечто среднее между чаем и кофе, весьма жиidenко, но испускающее обильный пар.

Беру чашку и подступаю к своей цели:

— Пусть вас не смущает, если я коснусь некоторых вопросов личного характера. Иной раз в наших делах личное и служебное так переплетается, что... Именно поэтому в ходе следствия у меня возникла необходимость познакомиться с прошлым Доры.

Окончание следует.

Было на Запсибе...

Начало на 3-й стр.

Заодно и посмотрю... И пошло! Один раз наш котел потек, назначили новый срок, и опять течет. Я к «папе»: сколько можно? Ведь готов котел. Уже давно. А он: тебе что дороже? Собственная шкура? Или интересы фирмы? Видишь, не успеваем?

Я часто кивал, не сводя с Тертышникова глаз: вон, мол, как, вон как!

— Тертышникова, в общем, по всем падежам, а Шевченко в это время спешит, работает...

Слава Поздеев, хорошо знавший все эти управленческие уловки, посчитал нужным объяснить мне:

— Шевченко-то вроде уже неудобно по падежам, начальник опытный... Или снимать, если не тянет, или...

— В этом и дело! Вали на Тертышникова. Он начальник молодой, всестерпит!

Два других начальника из «Сибметаллургмонтажа», Шевченко с Гнеденко, согласно кивали:

— Зашибались, конечно, на этот раз.

— Куда такой объем?

— А я чувствую, терпение мое уже вот-вот лопнет,— продолжал рассказывать Коля Тертышников.— Действительно, сколько можно? А тут вроде бы уже к концу идет, тут и целиком по тресту дела немножко опправились. Пора котел взаимодействовать сдавать. Подготовили к опрессовке, все на мази... Сижу я потом на рапорте, вдруг прибегает монтажник: Николай Семенович! Котел потек! Электрощиты внизу заливаются!

— Как же это?

— Да как?— посмеиваясь, ответил мне Шевченко, пока Тертышников выдерживал подобающую паузу, чтобы начать рассказывать и совсем уж, видно, «страшные вещи».— Они же добавлялись с проблемами—то закрутят, то выкрутят. А проблемы из меди, разбьют нежная.

— Нет, вы слышали?— оскорбился Коля Тертышников.— Они!.. Как будто мы выкручивали их по своей доброй воле, а не потому, что «папа» с главным перед этим тебя изнасилуют...

— Интересы фирмы!— поднял палец Виктор Гнеденко.

— Н-ну-ну... потек, значит?

— Прибегаю я... если бы вы видели!— Коля замолчал, и лицо у него еще и теперь, спустя столько времени после аварии, стало печальное.— Не знаю, с чего начинает, не знаю, за что хвататься. Бегу к телефону, а тут вот он, Качанов! Откуда привнесло? Костилем своим хрясь по столешнице: ах, так! Это в который уже раз котел потек?! Начальника управления—в мастера! Тут я тоже не выдержал... Каску с себя да об пол трах!.. Все, говорю, с меня хватит.

Представляю: это надо было допечь-таки Колю, всегда такого мягкого и терпеливого, это надо было его довести, чтобы он об пол каской!

— Что стоят?— закричал потом на Колю Качанов.

Коле было уже нечего терять:

— А я мастер. И это не мое дело.

— В таком случае, наверное, мое!

И Качанов, прихрамывая, бросился из тепляка, заторопился наверх, к котлу...

Потом они молча трудились рядом, Тертышников и Качанов,— оба работали гаечными ключами, как не приходилось уже давно ни новоиспеченному мастеру, ни заместителю министра со стажем.

Кое-как удалось котел утихомирить, но все последствия аварии стали видны только утром. Качанов снова всплыл и снова, указывая на Тертышникова свою палкой, распорядился: в прорыбы!

А Коля, который в ту ночь ни на минуту не прилег, приложил руку к сердцу:

— Спасибо, Климент Семенович!

И голос у него был такой прочувствованный, что заместитель министра сперва помолчал, потом спросил подозрительно:

— Это, интересно, за что же?

А Колю продолжало нести:

— Как же—такой рост! Только вчера меня мастером, а сегодня уже прораб!

— Ой, Тыртышный!— сказал зам.— Дограешься ты у меня!

Это он назвал тогда Колю Тыртышным, отсюда и пошло...

Я все не сводил с Коли глаз: ну-ну, мол...

Слушал дальше, поглядывая иногда на Шевченко, как он красиво и вольно сидел тогда—белое вафельное полотенце у него на шее, словно шелковый шарф,— как щурится от дымка сигареты, как довольно и вместе с тем вроде бы чуточку грустно посмеивался.

Слушал, смотрел, а в голове у меня мелькали другие фразы, один другим сменялись иные образы, шла своя работа, и где-то вторым планом уже начал выстраиваться сюжет: да вот... вот же! Пусть управляющий будет в чем-то так же, как «папа» Толчинский, пусть это он несколько лет назад в самые трудные, самые горячие дни большой стройки свалился от инфаркта, и потом, когда станут проводить его молодые начальники, они, как о самом главном, всякий раз будут рассказывать ему, как себя чувствует баран, которого его снабженец достал для шашлыков по случаю пуска...

Но пуск уже состоялся, а барашка оставили до того дня,

когда из больницы выйдет «папа», и среди «КРАЗов» и бывших ракетных тягачей этот барашик уже какой месяц живет в гараже, и начальники, когда приходят к своему управляющему, говорят озабоченно: хватит, «папа», болеть, а то снабжение в тресте пришло уже в полный упадок—все только тем и занимаются, что по окрестным деревням ищут сено!..

И «папа» выходит наконец и снова горит на работе, еще как чертоловит, но тут новое дело: начинается строительство громадного, на три миллиона тонн стали в год, конверторного цеха... Разве это сам по себе уже не конфликт—людям предстоит втройне скратить установленные техническими нормами сроки? Для чего же они тогда, любопытно, составляются, эти нормы? И за счет чего, самое главное, на который столько разных материалов и дорогого оборудования во время всеобщей спешки, во время толкучки будет обращено в прах? За счет горячей, не знающей отдыха от начала до конца стройки работы? За счет нервов? Или за счет беззаботной, на какую только сибиряки способны, самоотдачи?

И тот, похожий на «папу» управляющий, тоже мудрый, как змий, решается на ход конем: видя, что тресту никак не справиться с объемом, что непременно будут сложности, он берет нового, с пролетарской биографией начальника управления, такого всего положительного-преположительного, что его очень трудно будет ругать и просто невозможно уволить. И вот действительно на него одного валяются все шишки, он как громоотвод, зато другие, в том числе и старый его, еще с комсомольских лет товарищ, спешат, работают... И вдруг этот молодой, похожий на Колю Тертышникова начальник управления начинает тихо подозревать, зачем его взяли... Как говорит Коля, братцы!..

Да если я такое напишу и скажу, было на Запсибе, мне потом без каменки, без лиственничного полка, без березовых веников будет жарко!..

Вспомнили этот помотавший ребятам душу конверторный, Коля поймал мой взгляд, дернул крепким подбородком, на секунду прикрыл глаза: ну, как, мол? Я ему тоже подмигнул, а он сказал:

— А ты помнишь того дедка, доменного механика, что пушки нам тогда отладить помог? На первой домене. Я его часто... Только как фамилия, вот елки! У тебя, должно быть, где-то записано, ты поройся. Мы ведь, тогда молодые, думали: чудак человек! А теперь, когда сам к Антоновке к этой привык, что не оторвешь... Разве бы я, предположим, тоже не бросил бы все да не пристал бы к хлопцам, чтобы только старое вспомнить? Да ты-то понимаешь, небось, неуже меня, сам-то вон думал, почему сюда снова приехал.

Подключился Коля Тертышников, стали рассказывать эту историю вдвоем, и тут пошло и пошло дальше: а помнишь?

Поздеев, посмеиваясь, долго смотрел на Колю такими глазами, будто надеялся одним взглядом вызвать у него воспоминания, потом только сказал:

— А вторую кательную на промбазе... а?

Тут же и догадался, о чем это он хотел. Бригада, в которой начинал на Запсибе Коля, несколько дней простоявала, а трейлер, привезший наконец ферму, прочно засел в болоте, и его никак не могли вытащить. Коля и предложил тогда подтолкнуть машину бульдозером. Тот уперся ножом в торец фермы, бульдозерист подняжал, и тут заскрипел металлы, шофер с бранью выделал из помятой кабиной. Трейлер отогнал тогда в гараж к монтажникам, и ребята ремонтировали его ночь напролет... давно!

Поздеев, известный водохранилищем, попросил заварить еще чайку, кто-то другой сказал, сколько можно, опять запороли, загадливо радостно—любая тема сейчас подхватывается с таким оживлением, как будто они и в самом деле сто лет вместе не собирались...

Еще в начале нашего вечера я взял на себя роль заведующего чаепитием, но штатом обзавестись так и не успел—опять придется в сторожку идти самому...

В черных космах заснеженных пих тут теплое единственное окно сторожки, дальше вставал облитый призрачным сиянием луны кругой противоположный берег, и над выгнутой кромкой тайги синевато иглизились, ясно подрагивали озябшие звезды.

Стоял, слушая ночную тишину, и мне подумалось о необычности нашей земли, о тепле на ней, о холодах, и подумалось о другом тепле—когда тебе спокойно и, как мальчишке в родительском доме, хорошо рядом со старыми товарищами...

Ни о чем особенном я тогда не думал—ни о Запсибе, ни о Франции, куда Коля Шевченко так в конце концов и не попал: через несколько месяцев он уехал управляющим крупного треста в Белгород, в те самые края, где бывший монтажник из его бригады Толя Шаталов строит и строит ГОК... Ни о чем таком особенном я не думал, а только тихо стоял на промерзшем крыльце, долго смотрел на неяркое окно сторожки, на звезды у себя над головой и не только был счастлив, но еще и знал наверняка, что всякий раз счастлив будешь потом, когда об этой минуте вспомнишь.



Рисунок Владимира СОЛДАТОВА



Рисунок Виктора БЕЗБОРОДОВА и Виктора КУЛИКОВА

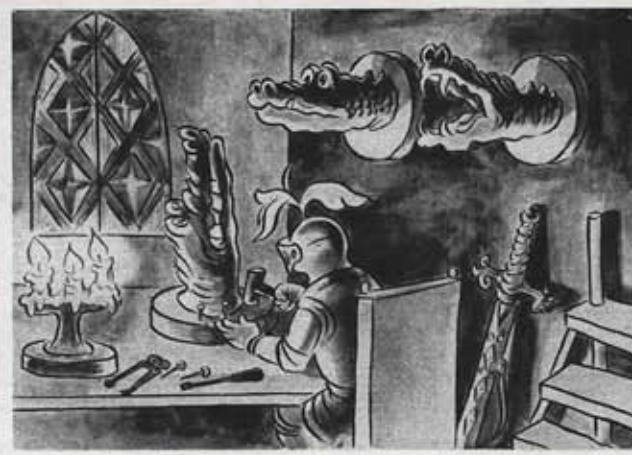


Рисунок Евгения МИЛУТКИ

Рисунок Михаила МУШНИКОВА



ШАХМАТЬ ШАХМАТЫ

Под редакцией заслуженного тренера РСФСР
Виктора ЛЮБЛИНСКОГО

ШАХМАТЬ ШАХМАТЫ

РАСТЕТ
ТАЛАНТИВАЯ СМЕНЫ

Немало новых шахматных дарований раскрылось на командном турнире Всесоюзной спартакиады школьников, проводившейся во Львове. Золотые медали в этом интересном соревновании завоевала сборная Российской Федерации. Серебро у юных москвичей, бронза досталась команде Грузии, в которой отлично выступили девушки.

О том, как талантлива и эмоциональна игра нашей шахматной смены, рассказывают многие партии спартакиадного ристалища. Фрагменты двух запоминающихся поединков предлагаем вниманию наших читателей.



К такому положению пришла после 13-го хода черных в остройшем варианте сицилианской защиты партия Рафаэля Габдрахманова из сборной РСФСР (у него были белые) с туркменским шахматистом Мухтаром Мухановым.

Белые умело воспользовались ощущенным перевесом в мобилизации фигур и энергичной комбинацией начинают штурм не успевшего

рекордироватьсь неприятельского короля. Сначала они жертвуют слона, а затем и качество.

14. Cf1:b5! a6:b5 15. Kd4:b5 Fc7—b8 16. Ld1:d7! Kpe8:d7 17. Fh4—f2.

Скромный на вид, но убийственный силы ход. Вторжение белого ферзя с одного из флангов в тыл соперника парировать в данной ситуации оказывается невозможным.

17. ...Kpd7—e8 18. Ff2—b6 Cf8—e7 19. Cg5:e7 Kpe8:e7 20. Fb6—c5+! Kpe7—d7 21. Lh1—d1+ Kpd7—c8 22. Kb5—d6+ Krc8—c7 23. Kc3—b5+.

Хотя у черных лишняя ладья, их король находится под перекрестным обстрелом и спастись уже не в состоянии.

23. ...Krc7—d7 24. Kd6:b7+ Kpd7—e8 25. Fc5:c6+, и черные капитулировали.



Перед вами позиция, созданная после 18-го хода белых в партии Майи Чубурданидзе с москвичом Олегом Френкелем. Нельзя не отметить великолепного результата Майи: в девяти партиях с юношами юная грузинская спортсменка набрала 7 очков!

Здесь Майя играла черными и тактически искусно, в стремительном темпе взяла верх над своим партнером.

18. ...Fdf8—b6! 19. Fc2—b3 Fb6—a7 20. Fb3—b5 Lf8—d8 21. Ke2—d4.

Этот кажущийся естественным и активным маневр находит остромое опровержение. Но имеется ли здесь у белых удовлетворительный план действий?

21. ...Ke6:c5 22. Kd4:c6 Kc5—b3+!

В кавалерийском прыжке соль коварного замысла черных. Как минимум, они теперь форсированно завоевывают качество.

23. Krc1—b1 b7:c6 24. Fb3—b6 Fa7:b6 25. Ce3:b6 Cc8—f5+! 26. Cf1—d3 Ld8—b8 27. Cb6—e3 Cf5—g4!, и белые сложили оружие.

ПАМЯТНЫЙ РАДИОМАТЧ

Исполнилось 30 лет с момента проведения памятного в истории шахматных состязаний радиоматча СССР—Великобритания. Он вызвал большой общественный резонанс и завершился убедительной победой советской команды—14:6.

Вот какую энергичную атаку удачно провела тогда в партии против Р. Брюса ленинградка Людмила Руденко, ставшая спустя несколько лет первой советской чемпионкой мира.

На диаграмме отображена ситуация, возникшая после 15-го хода черных. Неожиданной жертвой слона советская шахматистка (она играла белыми) разрушает пещечный бастион вокруг черного коро-



ля и не оставляет сопернице ни малейшего шанса.

16. Cc1:h6! g7:h6 17. Fh5:h6 Kd7—f8 18. Le1—e3! Kc6—e7 19. Le3—g3+ Kf8—g6 20. h3—h4! Ke7—f5 21. Cd3:f5 e6:f5 22. h4—h5 Fd8—h4 23. Kb1—d2!

Подключение к наступательным операциям конницы быстро решает судьбу сражения.

23. ...Le8—e7 24. Kd2—f3 Fd8—e7 25. h5:g6 Leb:g6 26. Lg3:g6+ f7:g6 27. Fh6:g6+ Kpg8—f8 28. Kf3—g5 Feh7—d7 29. Kg5—h7+ Kpf8—e7 30. Fg6—f6+, и черные сдались ввиду неотвратимого матта.

ЭТЮДЫ ПИСАТЕЛЯ

К числу самых авторитетных советских шахматных композиторов по заслугам относят Александра Казанцева. Его содержательные, насыщенные оригинальными идеями шахматные этюды многократно награждались на всесоюзных и международных конкурсах. Имя А. Казанцева, чье 70-летие отмечается в этом году, широко

известно в нашей стране и за рубежом благодаря его неутомимой литературной работе в области научной фантастики.



Белые начинают и делают ничью.

Приводим основной вариант решения этого чудесного этюда А. Казанцева: 1. d5—d6! Ka3—b5.

Не менее хитроумно белые добиваются цели после 1. ...Kc4 2. de Kpb5 3. e8K! Ch8 4. h7a3 5. Kpg8 Kpb6 6. Kp:8 Kpf7 7. Kd6+ Kpf8 8. K:c4 a2 9. Ke5! a1L! 10. Kd7+ с вечным шахом.

2. d6:e7 Kpd4—e5 3. e7—e8K! Cf6—h8 4. h6—h7 a4—a3 5. Kpf7—g8 Kpb5:6 6. Kpg8:h8 Kpb6—f7 7. Ke8—d6+!

Неожиданный шах—белый конь неизъясним из-за пата. Самое же пикантное впереди—поистине фантастическая позиция на 9-м ходу, когда в связи с пресловутым патом черная пешка не сможет превратиться в ферзя.

7. ...Kpf7—f8 8. Kd6:b5 a3—a2 9. Kpb5—d4!! a2—a1 L 10. Kd4—e6+ Kpf8—f7 11. Ke6—d8+ Kpf7—g6 12. Kph8—g8 La1—a8 13. h7—h8 K:c4! Kpg6—f6 14. Kh8—f7, и белые достигают цели.



ТОЛЬКО НЕ ЛЮБОВЬ...

Слова Людмилы ЩИПАХИНОЙ
Музыка Эрнста МАНВЕЛЯНА

Тает снег порою вешнею,
Высыхают ручейки,
Облетают над черешнею
Молодые лепестки.

Вижу, веточка качается,
Листья сбросившая вновь.
Все когда-нибудь кончается,
Все, но только не любовь!

Утро вечером сменяется,
Чтоб прийти на землю вновь.
Все на свете изменяется,
Все, но только не любовь!

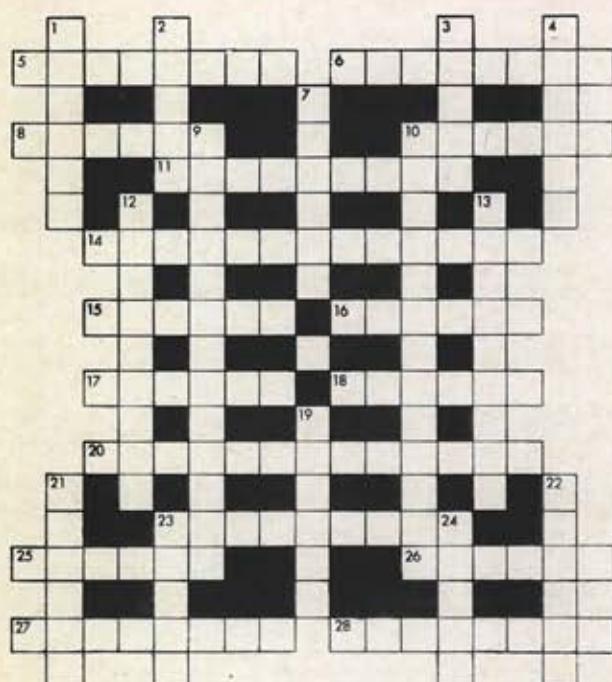
Ошибаемся, печалимся,
Размышляем, что к чему.
И не с тем порой встречаемся,
Доверяем не тому.

Дорогят костры осенние,
Гуси к югу улетят,
Подо льдом озера синие
Неподвижные стоят.

Месяц в облаке заблудится
И, сияя, выйдет вновь.
Все на свете позабудется,
Все, но только не любовь!

КРОССВОРД

Составил Д. ТЕТЕРЕВЯТНИКОВ
г. Москва



По горизонтали:

5. Автономная советская республика. 6. Лучший учащийся. 8. Позма В. В. Маяковского. 10. Массовое собрание для обсуждения определенного политического вопроса. 11. Наука о процессы в почве, питании и защите растений. 14. Напряженность, усиление производительности труда. 15. Спор на темы науки, литературы и искусства. 16. Название серии советских искусственных спутников Земли. 17.

- Герой пьесы Н. Ф. Погодина «Человек с ружьем». 18. Широта деятельности, смелость инициативы. 20. Характеристика размеров, веса судна. 23. Часть учреждения, высшего учебного заведения. 25. Птица, символ мира. 26. Персонаж «Сказки о мертвый царевне и семи богатырях» А. С. Пушкина. 27. Поэт. Герой Социалистического Труда. 28. Типовой образец по размерам, форме, качеству.

По вертикали:

1. Ценная промысловая рыба. 2. Приток Оки. 3. Морской двустворчатый моллюск. 4. Советский детский писатель. 7. Работник со средним специальным образованием. 9. Способность материалов противостоять воздействию высоких температур. 10. Система взглядов на жизнь, общество, природу. 12. Указатель, прибор для определения

- некоторых физических величин. 13. Механическая обработка поверхности дерева, металла. 19. Многолетнее травянистое растение семейства гвоздичных. 21. Металлические изделия, рельсы, трубы, балки. 22. Южный хвойный кустарник, дерево. 23. Тип, характер, созданный писателем, художником. 24. Город в Смоленской области.

ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД,
НАПЕЧАТАННЫЙ
В № 18

По горизонтали:

5. Темпера. 7. Годунов. 11. Дрожжи. 13. Турнир. 14. Олива. 15. Ватин. 16. «Унита». 17. Айран. 18. Гимнаст. 21. Дальтон. 23. Правительство. 26. Отчизна. 29. Графика. 32. Сорго. 34. Тарту. 35. Купон. 36. Рулет. 37. Боргес. 38. Штатив. 39. «Западня». 40. Аркадия.

По вертикали:

1. Державин. 2. Аризона. 3. Нокдаун. 4. Монреаль. 6. Плинтус. 8. Утица. 9. Принцип. 10. Филолог. 12. «Гидроцентраль». 19. Аргыз. 20. Тавда. 21. Досуг. 22. Левша. 24. Отрылок. 25. Актиния. 27. Интеграл. 28. Нерусса. 30. Ряпушка. 31. Фантазия. 32. Сурдина. 33. «Октябрь».



СОЛДАТСКАЯ СВАДЬБА.

ОБЕЩАНИЕ СЧАСТЬЯ

Впервые я увидела полотно Валентины Юдиной на всероссийской молодежной выставке 1972 года. От высоких белых новостроеек, уходивших в голубизну неба, исходило ощущение чистоты и юношеской свежести, и невольно думалось, что сама художница должна жить в таком, только что выращенном человеческими руками городе.

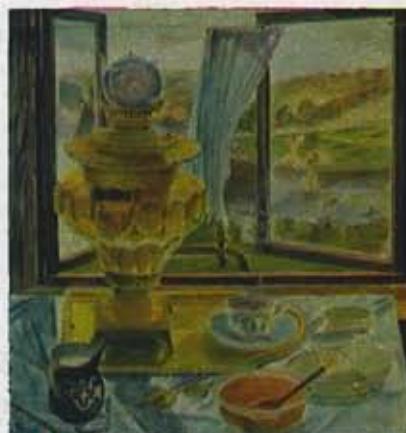
Примерно так и оказалось. Валентина Юдина родилась и выросла в Тольятти — городе, в котором даже старожилы не узнают прежнего волжского Ставрополя. Об искусстве мечтала с детства, вернее, и мечтать не решалась — просто с утра до ночи рисовала в школьных тетрадках. Окончив десятилетку, начала сдавать экзамены в медицинский ин-

ститут и вдруг неожиданно для всех уехала в Пензенское художественное училище. Но... туда ее не приняли. Все же она осталась в Пензе, днем работала, вечером занималась в городской студии самодеятельных художников. На следующий год добилась, поступила.

Каждый день в училище казался счастьем, каждый день нес открытия... После окончания Валентина уехала в Уфу, куда ее направили учить детей рисованию. Там она впервые начала участвовать в выставках, там познакомилась с интересными художниками, стала работать вместе с ними. С Александром Эрастовичем Тюлькиным, старейшим уфимским живописцем, Адией Хабибулловной Ситдиковой, Александром Васильевичем Пантелеевым.

С годами у Юдиной выработалась свой почерк, свое отношение к искусству. Ее работы привлекают чистотой, душевным изяществом и мягкой женственностью. В них царят тишина и мир.

РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ.



ЛЕТО.



ЛЮБА.

Нежные полупрозрачные краски. Легкие, но очень четкие линии, тонкий рисунок. Вглядитесь в окружающий нас мир, словно говорит художница, почувствуйте, как он прекрасен и как хрупок...

Последние годы Валентина Юдина пишет темперой по левкасу — сложная техника эта особенно красиво передает фактуру изображаемого, дает возможность выявить эстетику позиции бытия.

Когда в Уфе была устроена первая персональная выставка Валентины, Александр Эрастович Тюлькин сказал: «Вы должны написать «Алые паруса»! Эта книга создана для вас». «Алые паруса» Валентина пока не написала. Или, может быть, все-таки написала? Букет нежно-розовых цветов на окне, за которым виднеются современные городские дома и детская площадка, — разве не является он олицетворением надежды и обещанием счастья?

Ольга ВОРОНОВА
ГЛАДИОЛУСЫ.

